

Чорь Еришов
**ТАВРИЧЕСКИЙ
САД**





Игорь Ершов

ТАВРИЧЕСКИЙ САД

ПОВЕСТИ

Рисунки
М. Беломышнского

ЛЕНИНГРАД
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

© Издательство «Детская литература», 1978 г.
Состав, иллюстрации.

Е 70803—119
М101(03)—78 250—76





ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ С НЕМЦАМИ



Я всегда был такой же, как все, обыкновенный, только меня нигде не принимали. Это у меня была единственная особенность: если мне куда-нибудь очень хотелось, то я уже заранее знал, что ни за что не примут. А может, наоборот — туда-то мне и хотелось, куда не всех принимают. В школу, например, свободно

принимали всех, и я ничуть не переживал, потому что я и по возрасту подходил, и по здоровью, и был уверен, что примут. А вот когда Фортунатов собрал в нашем дворе снайперский отряд, чтобы стрелять на меткость из трубки, и сказал, что меня не примет, — вот тогда мне стало очень тошно. То есть такое чувство внутри, будто зажгли спичку и сразу же крепко прижали. Хоть кричи. Только я кричать не стал, я поднял свою трубку и, ни слова не говоря, выпустил в них без разбора полный заряд зеленой бузины — все, что у меня было во рту и в кармане. Конечно же, они не стерпели — бузины у них было гораздо больше, — и, в общем, вышло так, что я стал для них первой мишенью. Но зато после этого я слышал, как Фортунатов их всех уговорил, сказал, что ну его (то есть меня), лучше его принять, а то он какой-то ненормальный и странный. А я ничуть. Просто я не выношу, когда меня не принимают, это для меня хуже нет.

Вот, например, Толик Семилетов — он действительно странный.

Когда он только приехал в наш двор, он уже и тогда был такой странный, что его сразу хотели поколотить всем скопом. У него была непохожая клетчатая одежда, вся на резинках (говорили, что из Латвии), и еще он часто засматривался. Он любого мог засмотреть до смерти — уставится и глядит молча прямо в глаза. А если отойти в сторону, он все равно глядит на то же место, будто ты еще там. Я однажды обошел его сбоку и нарочно наступил на ногу. Он только сказал: «Извини, пожалуйста» — а головы не повернул. Вообще он часто извинялся — перед нами и то извинялся, если толкнет или испачкает случайно. Но не это главное. Невозможно

передать, какая у него была самая главная странность, в чем она выражалась.

Взять хотя бы историю с немцами.

Тогда еще много оставалось разрушенных с войны домов, и напротив нас тоже был один — в него, говорят, попала бомба и потом еще два снаряда. Этот дом восстанавливали пленные немцы, и нам очень нравилось, что все так по справедливости — сами разрушили, сами пускай и восстанавливают. — но мы боялись, что они снова заложат в дом замедленную мину, замуруют ее прямо в стену, а потом она через несколько лет взорвется вместе с жильцами и новоселами. Мишка Фортунатов сказал, что нужно следить за немцами и разоблачить, и мы, все ребята с нашего двора, бегали по очереди дежурить на чердаке — оттуда все было хорошо видно. Немцев было очень много: одни выкладывали стены, другие подносили им снизу кирпичи и какую-то грязь на носилках (теперь я знаю, что это называется раствор), третьи непонятно чего делали, но тоже ходили взад-вперед по доскам и мерили все шнурками; конечно, конвойным было за ними не уследить, а мы сверху видели каждую пуговицу и обязательно должны были заметить любую мину, даже очень маленькую.

Каждому хотелось первому заметить мину и поднять тревогу. Мы часто ссорились из-за очереди дежурить на чердаке, но Мишка Фортунатов всегда поддерживал дисциплину и справедливость и без очереди никого не пускал. И Толика Семилетова он тоже назначил, хотя он и странный, чтоб все было по справедливости. Вот тут Толик и показал себя, свою невероятную странность: сказал, что он дежурить не пойдет, что все это ерунда и никакой мины у немцев нет, потому что где же они ее достанут?

Это же надо было так сказать!

Как это? Немец и вдруг не достанет мины? Немец без мины — это не укладывалось у нас в голове. Да для любого немца нет и не может быть ничего проще, чем достать мину или, скажем, снаряд. Мы вообще не могли себе представить немца, у которого бы не было в руках или в карманах какого-нибудь пистолета, ножа, бомбы, снаряда или хотя бы обоймы с патронами. Наоборот, непонятно было смотреть на них сверху и видеть, как они пересмеиваются между собой, едят в перерывах суп, читают журналы, вытряхивают песок из ботинка, — все время казалось, что они притворяются.

Но сказать, что немец не достанет мины, — это уже было дальше некуда.

Мы стали окружать Толика, чтобы побить его, наконец, за все. Уже не было никаких сил выносить его странности. Но он вдруг достал из кармана два электрических провода и сказал, что ударит током каждого, кто к нему подойдет, — попробуйте только сунуться. Сзади его было не окружить, он прижался к поленнице, а провода тянулись из кармана далеко вперед, и когда он соединял их голые концы, там проскакивали и трещали белые искры. Мы постояли-постояли вокруг него и ушли на чердак дежурить. Очень уж противно, когда тебя дергает током. Толик потом всегда ходил с этими проводами, и никто долго не мог догадаться, что у него в кармане трофейная батарейка, — искры были очень электрические, и сам он жмурился, словно от страха. Так его ни разу и не побили.

А с немцами тоже все скоро кончилось, — наверное, из-за меня.

Я дежурил в тот раз на чердаке вместе с одной девочкой, с Люсей Мольер, а был вечер, и немцы работали при электричестве. При электричестве и так плохо видно, а тут еще эта Люся. Она мне просто покоя не давала, хватала за шапку и вертела мою голову во все стороны, чтобы я смотрел.

— Вон тот? А вон тот? Смотри, что он там делает? А этот?

— Да не верти ты меня, — сказал я ей наконец. — Будешь еще вертеть — прогоню домой в куклы играть.

У нее действительно было много кукол, и она до сих пор в них играла. Правда, всегда в одну и ту же игру — в очередь. Выстроит всех в очередь и каждой чего-нибудь дает. Дает и отводит в сторону. Дает — и в сторону. И говорит при этом: «Вот тебе хлеб. А тебе макарон. А это мыло».

Над ней много смеялись, но потом мама мне сказала, что неизвестно еще, во что бы я сам играл, если б жил здесь в блокаду, как Люся, и я перестал. Я и другим сказал, чтоб перестали, и они согласились, только Мишка Фортунатов возражал и боролся за справедливость, потому что он сам тоже был здесь в блокаду. Он добился, чтобы ему одному было можно, но все равно не смеялся. Наверно, просто забыл. Да и чего тут смешного? Она была, в общем-то, дружная девочка и веселая — пусть играет у себя дома во что хочет. В конце-то концов.

Но вот дежурить с ней была сушая морoka. У меня уже

через полчаса руки тряслись и голова как-то дергалась — все под ее влиянием. И вообще все эти дежурства довели нас всех уже до того, что нам хотелось, чтобы они подложили мину. Так часто бывает. Когда чего-нибудь долго ждешь, пусть даже плохого или страшного, то начинает хотеться, чтобы поскорей. Я смотрел на какого-нибудь немца и думал:

«Ну пожалуйста, ну что тебе стоит. Подложи сейчас, в мое дежурство. Достань из кармана и подложи. Ах, не подкладываешь?! Вот ты как! Мало вас били, фашистов проклятых. Вот вырасту, я тебе еще покажу!»

И когда я увидел того немца, я чуть с чердака не свалился от радости. Я еще раньше за ним следил, потому что он стоял один в стороне с пилой в руках и кому-то кричал, — видно, звал, чтобы помогли пилить. Но никто к нему не подошел, и тогда он начал пилить один. Я потому и запомнил его, что он пилил один, — водит пилу за одну ручку, а другая болтается как хочет. Туда прямо идет, а назад дрожит, как макаронина, если ее быстро всасывать губами. Потом я забыл про него, а когда вспомнил и снова посмотрел, его уже не было. Куда же он мог подеваться? И вдруг вижу, что он лежит там же за досками и будто бы копает в снегу руками. А потом и копать перестал — притаился, где его никто не видит, и выжидает.

— Ага! — закричал я. — Ага! Дяденька часовой! Товарищ солдат! Смотрите, там немец мину прячет! Смотрите!

Часовой стал озиаться, увидел наконец меня и побежал, куда я показывал, и с другого конца другой часовой тоже. А я словно взбесился от радости — полез на крышу и начал на ней скакать и визжать, скидывая вниз снег ногами. Потом побежал по лестнице и звонил во все звонки, а во дворе кто-то уже кричал: «Поймали, поймали!». Наверно, Люся Мольер.

Дальше долго не помню, что было (помню только, что сердце очень колотилось), и вдруг сразу: мы стоим у ворот того дома, где работали немцы, и к ним задом подъезжает санитарный автобус, а мы никак не можем понять, зачем санитарный. Или он кого ранил из наших? Или взорвалась мина? Взорвалась, а мы так орал и не слышали.

Тут ворота приоткрылись, и его вынесли в щелочку — того самого немца. Я его еле-еле узнал из-под бинтов и ваты, а может, и не узнал тогда, а только после, когда нам часовой сказал, что это тот самый, — он лежал за досками, пото-

му что его ранило пилой. Пила застряла, а он нажал на нее с разгона, она изогнулась и лопнула прямо ему в лицо. Все потому, что он пилил в одиночку. Те немцы, которые клали его в автобус, все наклонялись к нему и звали: «Герберт, Герберт!» — но он не отвечал. А мы еще никак не могли понять, и, когда автобус отъехал, кто-то даже сказал:

— Так и надо.

— Ишь ты, — сказал часовой, — и ребятишки-то... тоже... — и вздохнул.

А другой закричал:

— Уходите отсюда, ребята, уходите! Нечего вам тут смотреть.

И потом, уже войдя в ворота, сказал тому, первому:

— А пилы-то поржавели все. Старье. Доложить надо.

— Докладывал. Да где же теперь новых достать. Небось вся сталь вот сюда пошла, на пилы и не осталось ничего, — и он похлопал себя по штыку.

Они ушли, а мы после того еще пару раз подежурили и бросили. Не то чтобы обсуждали и договорились, нет. Просто бросилось как-то само собой, и все.

ГЛАВА 2. УЗУРПАТОРЫ



В ту зиму было много интересных событий со всякими последствиями, и некоторые последствия оказались потом даже интереснее и важнее самих событий.

Во-первых, в нашу с мамой комнату приехали три нахалки.

Так рассказывал всем дядя Павел (он говорил не «приехали», а «узурпировали»), хотя трех там, конечно, не набиралось — младшей было всего два с половиной годика, если говорить честно. Они пришли днем, когда мама еще не вернулась с работы, и я сразу понял, что это мать и дочь, настолько они были похожи, а дочь еще тащила по полу узел из валенок и тряпок, который потом тоже оказался дочерью — дочерью-внучкой. Старшая мать-бабушка — поставила чемодан и сказала: «Вот мы и дома». Потом подошла к окну, расцарапала замерзшие гляделки пошире и закрывала:

— Смотри, смотри, Надя, — наш термометр! И «Гастроном» тот же самый, и вывеска уцелела — будто вчера еще там покупала. Господи, просто не верится.

Она заходила по комнате, все щупала, узнавала и ахала, пока не наткнулась на меня. (Меня-то уж она никак не могла узнать.) Я разогревал на плитке лапшу и по своей дурацкой привычке улыбался им обоим, будто ничего не случилось и я еще ничего не понимаю, как маленький.

— Мама, наверное, скоро вернется, — сказал я. — Вы посидите пока.

— Нет, я не могу сидеть, — сказала старшая мать-бабушка. — Сколько лет, сколько лет! Ведь я знаю здесь каждый уголок, каждую трещинку в полу. Сколько километров я по нему исходила, если просуммировать в общей сложности.

— Не надо ничего суммировать, — вежливо сказал я. — Не трудитесь. Потому что это вовсе не ваш пол.

Наверно, я по-прежнему улыбался, и она подумала, что я такой уж дурачок или просто шучу.

— Ну как же не наш! Я помню каждую дощечку, каждый гвоздик. Вот здесь раньше скрипело — знакомый скрип половиц.

— Это не ваш пол, — снова сказал я, глядя вниз на лапшу. — Вы его в первый раз видите.

— Ты, пожалуйста, не спорь. Если взрослые говорят, — значит, кончено. Надя, скажи ему.

— Ах, мама, подожди, — сказала Надя. — Мы ему все объясним, только пусть он сначала поест. Ешь, мальчик, ешь, а то остынет.

Она разматывала свою дочку и уже размотала одну руку и пол-лица.

— Когда мы приехали, здесь не было никакого пола, — сказал я упрямо. — Его сожгли в блокаду на дрова. Все сделал заново папин друг, солдат Иванов. Он приезжал в отпуск и сделал нам пол, дверь и рамы на окна. И термометр тоже он привез, и я сам его привинчивал. А вы если не знаете, то и не говорите. Вот.

— Видишь ли, ты еще очень мал, чтобы с тобой можно было серьезно спорить. Солдат Иванов тут совершенно ни при чем, он не играет никакой роли.

— Как это не играет! — воскликнул я. — Хорошенькое дело. Это солдат-то Иванов?! Это вы тут ничего не играете.

— Ах!..

Я подумал, что она сейчас завизжит на меня или заплачет, и прямо сжался, но тут Надя перебила ее:

— Мама, хватит тебе. Иди лучше помоги мне.

Они вдвоем взялись за шубку и вытряхнули из нее маленькую девочку в шерстяных чулочках. Девочка сразу же побежала чулочками к зеркалу и запела, показывая на себя пальцем: «Царь, с царицею простясь, на добра коня садясь...» Потом ни с того ни с сего поскользнулась, шлепнулась на попку и, сказав сама себе: «Спокойно. Только не йеветь» — поползла, поползла, под стулья, под стол — еле удалось ее оттуда достать. Никогда еще не видал таких отчаянных девочек в ее возрасте, она мне сразу понравилась — единственная из всех троих.

Когда, наконец, пришла мама, они все сидели на нашем диване и пили молоко с бутербродами, передавая друг другу бутылку. Мать-бабушка жевала не открывая рта, и за ее щеками что-то быстро каталось, выпирало и ворочалось, будто искало выхода. Невозможно было оторваться. Мама вошла, как всегда улыбаясь (это я от нее научился), а увидев трех нахалок, заулыбалась еще сильнее, словно она их всю жизнь ждала и теперь просто счастлива видеть.

— Здравствуйте, — сказала мать-бабушка. — Вы нас не знаете, и мы тоже с вами не знакомы, но до войны мы жили в этой самой комнате и вот теперь наконец, слава богу, вернулись. Меня зовут Ксения Сергеевна, это моя дочь Надя, а это внучка Катенька.

— Очень приятно, — сказала мама, не переставая улыбаться.

«Ничего себе, приятно, — подумал я. — И еще улыбается».

Мне хотелось подойти к маме и подвинуть ее губы и глаза на строгое, неулыбающееся место, чтобы она поскорее поняла, чего хотят эти тетki, и прогнала бы их с треском из нашего дома.

— Конечно, вы должны нас понять правильно, — сказала мать-бабушка, Ксения Сергеевна. — Я не собираюсь упрекать вас, что вы незаконно заняли нашу комнату, или жаловаться в высшие сферы и инстанции, потому что вы же не знали, не могли знать, кто настоящие хозяева и живы ли они вообще. А мы на самом деле живы и ничуть вас не осуждаем. Даже наоборот. Всем сейчас нелегко, и люди должны помогать друг другу. Поэтому я, конечно, разрешу вам с сыном жить вместе с нами, пока вам не дадут другую комнату,



такую же или даже больше. Пожалуйста, живите. Хотя надеюсь, что это не протянется больше месяца, — все будет зависеть от вашей энергии и настойчивости.

Наконец-то мама перестала улыбаться. Она всегда была слишком тактичной, как говорил дядя Павел, а с новыми и неизвестными людьми — просто до невозможности.

— Но простите, — сказала она. — Это же ни на что не похоже. Какая-то фантастика.

— Нет, это жизнь. Настоящая грубая жизнь как она есть. Действительность интереснее любого романа, вы же знаете.

— Вот так действительность! Действительность как раз состоит в том, что мы с сыном живем в этой комнате и имеем на нее все права. Мы — семья офицера: мой муж служит в Австрии и скоро вернется. Вам лучше будет с ним поговорить обо всех тонкостях и документах.

— Да о чем тут говорить? Вы же интеллигентная женщина, я это вижу, я это точно чувствую. Неужели вы станете унижать себя разговором о формальностях, обо всех этих ордерах, прописках, печатах и гербовых сборах?

Мама ужасно покраснела и промолчала. Видимо, она как раз собиралась унижить себя таким разговором и не успела.

— Но простите, — сказала она. — Откуда же я могу знать, что вы жили именно в этой комнате? Ведь я с вами совсем



не знакома. Вы приходите с улицы и говорите. Почему я должна вам верить?

— Ну, это очень просто доказать. Это могут подтвердить все соседи.

— Они живут здесь столько же, сколько и мы. Это был совсем пустой дом.

— Но я знаю тут каждую шелку, каждое окно. Проверьте, если хотите.

— Сколько на нашей лестнице ступенек? — быстро спросил я.

— Боря, замолчи, — сказала мама. Видимо, она очень волновалась. — Я сама тут еще мало знаю. Как же я могу вас проверять?

— Эта комната площадью двадцать пять квадратных метров, ведь правильно?

— Да, что-то около того.

— Подумаешь. На глаз видно! — крикнул я.

— Через дорогу «Гастроном», за углом Таврический сад, под окнами остановка третьего автобуса.

— Нет, — сказала мама, — третий автобус тут не ходит.

— Но раньше-то ходил, ведь ходил же, правда, Надя?

Надя все время сидела нагнув голову, будто ей было чего-то стыдно, а тут закрыла лицо руками и отвернулась. Может быть, даже заплакала.

— Да вот ведь что! — закричала Ксения Сергеевна. — Сейчас все ясно станет на свои места, сейчас я вам докажу. Идемте-ка за мной, идемте.

Мы вышли за ней в коридорчик, и она в темноте уверенно прошла в угол (может, и правда жила здесь когда-нибудь), пошарила по стене между чьим-то корытом и велосипедом и сказала:

— «Здесь. Конечно, это здесь».

Там была незаметная закрашенная дверца, такая железная форточка, которую я раньше никогда не замечал.

— Это старый заброшенный дымоход. Согласитесь, что я никогда бы не узнала о его существовании, если бы не жила здесь. Ну согласитесь.

— Да, конечно, — сказала мама.

— Но мало того. Если вы откроете дверцу, то нащупаете внутри две заслонки — наверху большая, а под ней еще одна, поменьше. Так вот, на той, поменьше, выцарапано одно слово. Ася. Да-да, Ася. Ася — это я. Пожалуйста, проверьте.

Она так торжествовала, так была уверена в победе, что я подумал: «Ну, все, мы пропали».

Мама медленно открыла дверцу (оттуда еще вытекло немного старого, очень заброшенного дыма), засунула руку, пошарила — там что-то звякнуло, и вот вылез черный круг с железной петелькой наверху.

Ксения Сергеевна улыбалась куда-то в сторону и выстукивала пальцами по корыту.

На маму было жалко смотреть. Я думал, что она заплачет.

«Ну и что! — хотел закричать я. — Что с того, что они раньше тут жили? А теперь живем мы. И нечего с ними разговаривать и искать старые заслонки с петельками; пусть уходят по-хорошему, откуда пришли».

Мама вдруг вынула руку из стены и сказала:

— А больше там ничего нет. Никакой Аси.

— Как нет?! — закричала Ксения Сергеевна, отталкивая маму. — Пустите!

Она до самого плеча засунула руку в дыру, заморгала, прижалась щекой к стене, потом попыталась засунуть голову, но голова уже не лезла.

— Этого не может быть, этого не может быть, — повторяла она и шуровала так, что сажа летела оттуда во все щели и прямо ей в лицо.

Меня просто корчило от смеха. Мама тоже кусала губы и изо всех сил изображала лицом сочувствие. Она всегда учит меня сочувствовать чужим несчастьям, но сама не выдерживает, если смешно.

Надя первая повернулась и пошла обратно в комнату. Кажется, она даже вздохнула с облегчением, что все кончилось и ей не надо больше ничего переживать.

В комнате ихняя Катенька, про которую все забыли, успела оторвать со стены календарь, повалила все стулья, утянула со стола сегодняшнюю газету и теперь спала, завернувшись в нее, возле самых дверей. Как много успевают маленькие дети — и всего за несколько минут! Видимо, потому, что они совсем не раздумывают. А у нас всегда куча времени уходит на раздумывания.

Надя подняла ее с пола, отнесла на диван и начала потихоньку одевать. Голова у нее не держалась во сне и руки тоже, но в пальцах она по-прежнему сжимала газету; потом, так и не просыпаясь, заплакала.

— Сколько ей? — тихо спросила мама.

- Два года семь месяцев, — ответила Надя.
- А куда?.. Куда вы сейчас пойдете? В гостиницу?
- Какая уж тут гостиница, — вздохнула Надя.
- Но куда же? К папе? Где ее папа?
- Какой уж тут папа...

В это время вошла Ксения Сергеевна — ее еле было видно из-под сажн.

— Надя, — растерянно сказала она, — Надя, все исчезло... Там в самом деле ничего нет. Ничего нашего здесь не осталось, ничего. Подумать только.

— Одевайся, мама. Ты видишь, мы уже готовы.

— Ах да, конечно. Подумать только — ничего. Как это могло случиться?

Одеваясь, она все бормотала и искала глазами по потолку и стенам. Катенька плакала во сне как заведенная, — казалось, каждый раз вот-вот уже перестала, а на самом деле она просто набирала новый воздух для следующего рева. Мама смотрела на них как-то странно.

«Ну чего она, чего? — подумал я. — Ведь они уже уходят. Сейчас уйдут насовсем, и конечно. Потерпи еще немного».

— Может, достать ей еще один платок — шерстяной? — спросила Ксения Сергеевна, беря чемодан.

— Не надо. Сейчас на вокзалах и ночью топят, сейчас хорошо. Вполне можно ночевать.

И они пошли к двери.

Я посмотрел на маму и вдруг увидел, что все — ей не потерпеть. Знаю я это ее выражение. Очень давно в шесть лет, у меня был нарыв на колене, и его нужно было вскрыть, а я наталя по полу, визжал и не давался врачу. Тогда она схватила меня, зажала между колен и держала все время, пока мне там резали и прочищали. С тех пор я его и запомнил, это выражение на мамином лице, оно было очень бесповоротное.

И теперь вот тоже.

Они еще не дошли до двери, когда она подскочила к ним и начала зачем-то вырывать чемодан у Ксении Сергеевны.

— Нет-нет, — кричала она, — так нельзя! Куда же вы? Да еще с ребенком. Нет, я вас не пушу.

Ксения Сергеевна не отдавала ей чемодан, и тогда она забежала между ними и дверью и обеими руками принялась отпихивать их, отодвигать назад в комнату. Они упирались, но не сильно, — видно, здорово уже устали, а Катенька тем

более проснулась и ревела теперь во весь голос. Они еще немного поупирались, говорили, что нет, зачем же, если мы им не верим, а потом вдруг разом сняли пальто и сели обратно на диван.

И в тот же день они нас совершенно узурпировали и начали жить в нашей комнате.

ГЛАВА 3. ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ БЕРДЯЯ



Однажды Мишка Фортунатов прибежал во двор и закричал:

— Бердяй! Бердяй приехал!

И сразу же побежал назад.

Мы тоже побежали, куда и он, хотя не знали еще, кто такой Бердяй.

Тогда уже, наверно, начиналась весна, потому что, я помню, на асфальте лежали ледяные цилиндры, которые выкатываются из водосточных труб, и один был очень блестящий и прозрачный — я его поднял и потащил с собой. Мишка свернул в соседний, тридцать восьмой двор, в подворотню, а мы за ним — и пришли в какую-то комнату, где было битком набито народу, старших ребят, но без всякой мебели и даже без кровати. Некоторые сидели на полу и курили. Все курили, а один, небритый, говорил — я понял, что это и есть сам Бердяй.

— ...И вот место дальнее, кругом лес, и птицы от холода не летают. Он, это самое, достает из бушлата свою булочку, оглядывает со всех сторон и потихонечку начинает ее обкусывать. Кусает и обкусывает. А я на него смотрю со всей своей силой ненависти и чувствую: появляется у меня впечатление дать ему сейчас по морде. И тут он вдруг тоже на меня посмотрел так боком и все, видать, понял. Тотчас очки свои снял, уставился мне в оба глаза и рукой в мою сторону — раз! раз! Будто песком швырнул. И сразу же у меня по всему телу жар, пот прошибает — сил никаких нет. Как в парилке. Кажется мне, надо раздеваться, не то совсем изжарюсь. Начинаю я с себя все сбрасывать, кидаю прямо в снег, а мороз в окружающей в атмосфере тридцать пять градусов с половиной. Да еще ветер. Одна уж рубашка осталась, а мне все жарко, аж ноги подкашиваются — ну хоть помирай.

И вдруг будто в колокол ударило — бум! Очнулся я, кругом одежда валяется, сам я трясусь, выстукиваю зубами, какие остались, а его и след простыл. Вот оно как.

Он замолчал, оторвал из-за спины квадратик обоев и начал скручивать новую сигарку.

— Гипноз, — прошептал кто-то.

— Да, брат, гипноз, — сказал Бердяй. — С ним шутки плохи.

Все немного пошевелились, подвигали ногами и снова стихли. Я заметил, что с моей ледышки натекла уже лужа, и осторожно поставил ее на пол, подальше от себя. Может, никто и не заметит. И зачем я только с нею связался!

— Да, — заговорил опять Бердяй, — много чего я повидал, не дай бог вам, да уж думал: вот вернусь домой, так хоть отдохну сполна, подлечусь немного и заживу по-человечески, как другие нормальные жители. Куда там. Вот они, мои условия, — и он показал на стены и окна из фанеры. — Света белого целый день не вижу, а они говорят — газеты читай. А что в тех газетах прочтешь? Видать, разошлись мои пути на две развилки — либо в тюрьму добиваться, либо шапкой кидаться.

И он снял кепку и кинул ее на пол рядом с сапогами. Было совсем тихо. Все смотрели на кепку, и Бердяй тоже, будто не узнавал ее и удивлялся, откуда она упала. Потом я понял, что он не удивляется, а просто у него одна бровь все время поднята. Такая особенность лица. Он смотрел на кепку и молчал, а Сморгин из тридцать четвертого вдруг протянул руку и бросил туда рубль. Настоящий бумажный рубль, только очень старенький и мятый, как бинтик. Бросил — и ничего — смотрит по сторонам, будто это и не он. И Бердяй тоже вроде бы и не заметил. Тогда и другие начали понемногу кидать что-то в кепку, всякую мелочь, даже Мишка наш протиснулся и кинул (у него, я знаю, было пять копеек). А кто-то положил рядом электрическую лампочку, чтобы Бердяй увидел белый свет.

Я думал, что он сейчас будет говорить: «Спасибо, не надо, да что вы, ребята, вы меня неправильно поняли» — но он не стал. Он взял кепку за козырек и опрокинул ее себе на голову — так, что ни одна монетка не вывалилась.

Тогда я начал краснеть. У меня ведь тоже было в кармане тридцать копеек, а я хотел купить марку Африки и не дал их ему, не бросил, как все, в кепку. Пожалел. Вообще-то

я не жадный, а тут вдруг не дал. Я думал: что ж давать, если он все равно откажется? Так только, для вежливости. Я был уверен, что он будет отказываться, а он вот нет. Он снова рассказывал о своей трудной жизни, и чем она была труднее, тем я сильнее ругал себя за жадность. В конце он сказал про цветные металлы.

— Есть у меня один дружок, обещался помочь вчера разными средствами, только нужно для начала, говорит, цветных металлов достать. С ними сейчас острый дефицит. Килограммов пятьдесят для начала бы хватило, только где их искать, ума не приложу. Уж вы, ребята, посмотрите дома или во дворе пошарьте. Должны ведь они где-то быть, деться-то им некуда. Раз раньше были, — значит, и сейчас где-то лежат, как сохранившееся вещество материи. Верно я говорю?

Когда мы вернулись в свой двор, Мишка залез на дрова и сказал, что он что-то знает.

— Я знаю одно место, где этих цветных металлов — завались! — крикнул он. — Завтра я после школы туда поеду и, кого захочу, возьму с собой.

И тогда я первый забрался на поленницы и побежал к нему проситься, чтобы он обязательно взял и меня, потому что теперь мне позарез нужно было набрать хотя бы цветных металлов для Бердяя вместо марки Африки и этих проклятых тридцати копеек.

ГЛАВА 4. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ



Сначала мы шли через Таврический сад. Там было еще много снега повсюду, но спускаться на пруд уже не разрешали, потому что все таяло кругом и постепенно проваливалось и оседало. Мы шли вдоль ограды, и рядом протекала старая лыжня, до краев полная водой, — как две длинные и очень прямые реки. За Таврическим садом была еще одна улица, которую я помнил (мама однажды посылала меня за торфом), а дальше уже начинались все незнакомые переулки, пустыри и деревья, которых никто не знал, кроме Мишки Фортунатова.

Мишка сказал, что нужно садиться вон на тот трамвай, и пусть кто как хочет, а он поедет на «колбасе». Я тоже поехал с ним на «колбасе», а Толик и Люся вошли в вагон. Глупо ездить в вагоне, где все на тебя орут, подталкивают, пристают: «А у тебя, мальчик, есть билет? А где ты его взял? Подобрал, наверное, ну, сознайся, что подобрал?»

Сначала, когда мы только приехали в город, мне так нравилось входить в трамвай, покупать себе билет и ехать наравне со всеми, но потом на меня наорала одна кондукторша и испортила все удовольствие. Что, мол, я вошел и не вытер ноги, наследил ей снегом по всему полу. «Так ведь и все так», — сказал я. «Ах, ты еще разговаривать!» — закричала она и такие мерзости начала орать, что я не выдержал и спрыгнул на ходу из вагона. С тех пор только на «колбасе» и езжу, если без мамы. Это просто удивительно, почему такая тоска берет, когда на тебя орут. Ведь это совсем не больно и не страшно даже — ну что она может мне сделать? Да я просто убегу в любой момент. Убегу и сам ее обругаю. А все равно почему-то тоска.

Мишка всю дорогу, пока мы ехали, говорил:

— Только ты не трусь; в этом деле главное — не труситься. Приехали, набрали мешок металлов и уехали. И никаких гвоздей. А если будешь труситься, тут тебя и поймают, застукают как миленького, понял?

— Да я не трушу, — сказал я. — Чего ты пристал?

— Надо, чтобы никто не трусил. Вон те, в вагоне, пусть тоже не трусят. Пойди скажи им.

— Отстань, — сказал я. — Сам не трясись. А то трамвай с рельс опрокинешь.

Но я и сам тоже заранее боялся. Вечно я заранее чего-нибудь боюсь, а потом, когда случается, глядишь — да ничего ведь страшного. Единственное, чего я боюсь все время и без перерыва, это что кто-нибудь узнает, какой я трус, и поэтому из кожи лезу, чтобы никто этого не заметил, не догадался бы и не рассказал всем на свете остальным.

Мы спрыгнули у длинной каменной стены с колючей проволокой наверху и побежали, побежали вдоль нее вперед — видно было, что там город кончается. Потом пошли шагом. В некоторых местах колючая проволока торчала прямо из стены, замазанная в штукатурке, и свободные концы раскачивались у нас над головой, как водоросли. Было очень тихо, потому что наш трамвай уехал по кольцу назад, а город уже

кончился, и справа была только стена, а слева все тянулись поля снега без деревьев и, очень далеко, столбы с проводами и домики. Только у самой стены снег был утопан в дорожку, наверное, для сторожей.

— Ну, стойте, — сказал Мишка, — теперь надо перелезть.

— Я не полезу, — шепотом сказала Люся Мольтер. — Мне нельзя.

— Ладно, ты будешь караулить. Оставайся.

— Нет, не хочу караулить. Я пойду с вами.

— Так тебе же нельзя?

— А караулить мне еще хуже нельзя.

И как она отличала, которое «нельзя» хуже, а которое лучше?

Мы начали карабкаться в том месте, где проволока наверху оборвалась и спускалась почти до земли.

«А вдруг по ней пропущен ток, — подумал я. — Лучше не трогать».

Некоторые кирпичи вывалились из стены, и там можно было цепляться рукой, только без варежки. Мишка залез хорошо, я с Толиком тоже, а Люся, конечно, зацепилась шарфом за проволоку, и пока мы ее отцепляли, то сами тоже запутались несколько раз и ободрались кое-где до крови. Лучше бы проволока была с током. Тогда бы ее тряхнуло хорошенько, сама бы отскочила — не нужно и отцеплять.

— Глядите, глядите, — закричала она, едва отцепившись. — Сколько железа!

— Ну, что я вам говорил! — сказал Мишка. — Уж я-то знаю, где искать.

Там, за стеной, и правда тянулись целые горы и ущелья железных обломков, и не было видно ни одного человека. Все перекореженное, смятое, не понять что, только если приглядеться, можно было разобрать: вон торчит ствол пушки треснувшей, вон рельс, а там, наверное, гусеница от танка. А это что? Подводная лодка? Торпеда? Проектор? Никогда бы не поверил, что железо можно так скомкать. Как хлопнутый бумажный кулек. Почти все ржавое, мокрое от стаявшего под солнцем снега, и в разных местах поднимался пар, как дым после сражения.

Оттого, что не было видно никаких людей и сторожа, мы перестали бояться и смело полезли вниз, кричали и толкались, как в своем дворе. У меня был мешок, а у Толика —

взрослый портфель с табличкой, он никому не давал ее почитать. Внизу он вдруг спросил:

— А какие они, цветные металлы? Какого цвета?

Вечно он придумывал странные вопросы.

— А ты что, не знаешь? — спросил Мишка с презрением.

— Да, не знаю.

— Пора бы уж знать в твоём возрасте.

— А ты сам-то знаешь?

Мишка ничего не ответил и стал спускаться еще ниже. На лице его было так много презрения, будто он и сам знал про цветные металлы и нам уже объяснял тысячу раз. Все-таки у него был очень сильный характер, у Мишки. Я бы, например, на его месте тотчас же покраснел и опозорился, все бы увидели, что я ничего не знаю, а он ни за что. Как мне хотелось стать таким же решительным! Я полез за ним и сразу увидел там железное колесо. Оно было такое цветное — цветнее невозможно. Синее, как мои штаны, и с дыркой посередине.

— Нашел, нашел! — кричал я, показывая колесо.

— И я, и я! — запела Люся.

— Я буду искать медь, — сказал Толик. — Медь точно — цветная.

Я положил синее колесо в мешок и полез искать дальше. Теперь мне хотелось бы найти красное. Но то первое было такое тяжелое, — я понял, что больше мне просто будет не унести. Вообще металлы долго не пособираешь, это вам не картошка и не грибы. Положил одно колесико, и все. Зато я нашел наверху железной горы кусок самолета с почти целой кабиной, сразу же залез в нее и дал газ.

— Лево руля! Полный вперед! Табаны! — кричал я.

А Мишка сел внизу на артиллерийское сиденье с дырками, пелился в меня, кричал:

— По немецко-фашистским захватчикам — огонь! Огонь! Прицел ноль-пять, трубка ноль-шесть. Огонь!

— В пике! На таран! — орал я.

— Шрапнелью! Обходи! Заманивай!

— Стойте, не стреляйте — кричала вдруг Люся. — Это же наш самолет. Вон звезда.

Я высунулся и посмотрел с той стороны, где она стояла. Там и правда сохранилось что-то, нарисованное краской. Без сомнения, это была звезда.

Мы замолчали. От такой неожиданности невозможно было не замолчать. Нам как-то само собой казалось, что все сва-

ленное и перебитое здесь железо — немецкое, даже в голову не пришло бы думать иначе. И вдруг наш самолет, со звездой. А мы еще в него стреляли и хотели сбить. Правда, я-то не сбивал, я сам летал, но тоже хотел, чтобы меня сбили, раз уж я немецкий.

Нам стало не по себе. Все же это было жуткое место, как кладбище. И солнце куда-то неожиданно пропало, будто его выключили. Я начал вылезать из кабины (хотел выброситься с парашютом) и вдруг увидел, что к нам снизу кто-то бежит — бежит молча и то ли дышит тяжело, то ли рычит. А в руке короткая палка с крючком, багор. Железо грохает под ним, сыплется, а он прыгает, как по ровной земле, все ближе и ближе — дышит и рычит, дышит и рычит. И тогда я закричал нечеловеческим голосом и тоже бросился бежать, покатился вниз с другой стороны горы.

Как мы бежали! Наверно, если там еще оставалось целое железо, то мы его все растоптали и переломали начисто. Люся опять, конечно, застряла в какой-то расщелине, и пока мы ее оттуда доставали, он нас чуть не поймал. В темноте не разобрать было, где твердые места, а где ямы, и мы не проваливались в них только потому, что не успевали, сразу же отталкивались и прыгали дальше. Я застрял на самой стене; все уже перелезли и спрыгнули вниз, а я все дергался наверху, пока не сообразил, что это мешок меня не пускает. Он замотался за проволоку, а я впился в него и дергаюсь, как пришипленный. Так неужели бросать? В последний момент я догадался — вытащил из мешка свое колесо и свалился с ним прямо в снег.

Когда мы добежали до остановки, мне все еще казалось, что сзади кто-то топчет. Но потом я понял, что это не сзади, а внутри — опять так колотится сердце. И ободрались мы все, страшно посмотреть. У Люси вырвался кусок пальто, и она его все прикладывала на место, но он, конечно, не держался и каждый раз падал. Толик потерял портфель и теперь засматривался на всех нас от горя, потому что на табличке там было все написано про его деда: какой он был замечательный работник на заводе и какая у него фамилия, имя и отчество. Он боялся, что теперь его найдут даже дома и арестуют.

— Но я никого не выдам, не бойтесь, — говорил он.

А Мишка все повторял:

— Ну и впухли мы. Ну и вляпли. Вот тебе и прицел

ноль-пять. Вот тебе и огонь. Тарань, обходи, заманивай. Ха-ха-ха!

Ему, видно, опять было весело.

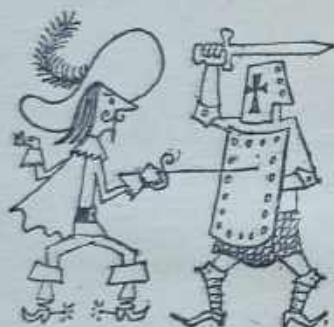
— Смотрите, какой молодец Боря, — сказала вдруг Люся. — Колесо не бросил, дотащил. А я все потеряла впопыхах погони.

— И я потерял. У меня в портфеле много было. Всякие медные трубы.

— Ничего, — сказал Мишка, — хватит и одного колеса. Ого, тяжеленное. Как раз пятьдесят килограммов.

Тут мне тоже стало весело. Это же я, я оказался самый смелый и дотащил цветное колесо, а остальные все бросили. Всю дорогу домой я радовался своей смелости и смотрел на ребят: понимают ли они, какой я отчаянный герой, чуть не погиб из-за своего героизма. Да разве они скажут, сознаются когда-нибудь вслух. Нет, ни за что.

ГЛАВА 5. КТО ГЛАВНЕЕ



Но Бердяю чем-то не понравилось мое колесо. Он сказал, что оно хотя и синее, но вовсе не цветное, а стальное (это сталь так посинела в огне), и толку от него — как от сгоревшей свечки, или выеденного яйца, или галоши с дыркой. Однако он нас ничуть не ругал, а, наоборот, еще рассказал несколько историй из своей трудной жизни — о том, например, как его чемодан свалился под поезд и как одна знако-

мая женщина подожгла ему ватник. Мы тоже рассказали, как и где искали цветные металлы и как за нами гнались, и он нас отлично слушал — поднимал свою удивленную бровь и вскрикивал, как на стадионе. Ему все можно было рассказывать, он не лез с замечаниями и не закатывал глаза; мол, как вам не стыдно, пионеры, называется, школьники, и все такое. Он был очень тактичный человек, Бердяй. Как равный товарищ.

Когда мы вышли от него во двор, там стояли Сморгин и его дружок с двойным именем Сережа-Вася.

— Эй ты, иди-ка сюда! — закричал Сморгин, и я понял, что «эй ты» — это я.

Я побежал к ним так, будто они собирались мне что-нибудь дарить, самокат, например, или перочинный нож. Ничего хорошего от них нельзя было ждать, их все у нас не любили и боялись, а им это очень нравилось. Они нарочно ходили согнувшись и курили все время, и кепки натягивали на самые глаза, чтобы их пуще боялись, видели бы сразу, какие они отчаянные и на все согласные. Посмотришь — и страх берет. Жуткие типы. А я к ним бежал и просто замирал от счастья, что меня позвал сам Сморгин. То есть и страшно, конечно, было тоже, так страшно, что на полдороге я даже подумал: «Может, повернуть? Зачем я к ним бегу, зачем подчиняюсь? Вот остановлю сейчас одну ногу, потом другую и поверну». Но ноги не останавливались, и я решил: «Ну ладно, в следующий раз уж точно не подчинюсь, не побегу, как дрессированный. Пусть позовут как следует или даже сами подходят. Если уж я им так нужен».

Сморгин поднес к самому лицу коробок и вдруг чиркнул спичкой. Будто хотел посветить. А чего тут светить, когда солнце на улице? Я отшатнулся, но он меня придержал за пальто и опять поднес спичку к самому лицу.

— Э тот? — спросил он у Сережи-Васи.

— Он самый, — ответил тот. — Его работа.

Тогда Сморгин задул спичку, спрятал ее назад в коробок и вдруг что есть силы ударил меня прямо в лицо. И я упал. Но не заплакал — это я точно помню, что не заплакал. Я сидел на снегу и сосал во рту оторвавшийся лоскуток кожи (он был очень соленый), а Мишка и Толик Семилетов кричали издали:

— За что? Чего дерешься? Вот получишь еще!

Сморгин им не отвечал, а Сережа-Вася крикнул:

— Он знает, за что. За ледышку. Будет знать, как ледышку людям подкладывать — всю одежду замочил.

Тогда я все понял и сказал:

— За ледышку это много. Так нечестно. Я тебе сдачи дам, ладно, Сморгин? Два щелбана, хорошо? Ну, один?

Он молчал и как-то странно двигал губами и щеками — будто задумался и подсчитывает, справедливо это будет или нет. А потом я внезапно догадался — вскочил и убежал к ребятам. Я догадался, что он ничуть не задумался. Он был такой мерзавец, что мог еще и плюнуть в меня, — по-моему,

он это и собирался сделать. Я уже и тогда знал, что он на любую подлость способен, и все это знали, а все же он был у нас самый главный на улице и никому не подчинялся. Ему подчинялись все-все, а он никому. Он был самый главный мерзавец.

Вообще я никак не мог понять, почему так бывает — один человек главнее другого, главнее — и все тут. Конечно, не считая учителей, родителей или, скажем, дворников — с ними-то всегда с самого начала ясно, что они нас главнее, как, например, генерал — лейтенанта. Нет, я про другое, про ребят. То есть когда все одинаковые лейтенанты.

Сначала я думал, что все дело в силе, — кто сильнее, тот и главный. Но потом увидел, что это вовсе не обязательно. У нас в классе был один второгодник Евгений, такой здоровый, что один поднимал памятник Ломоносову в коридоре, а все равно никто его не признавал. Над ним можно было смеяться, дразнить, хватать учебники, а он ничего не мог с тобой поделаться. Если он грозил и кричал: «Смотри у меня!» — ему отвечали: «Сам у себя смотри». Если он лез драться, от него убегали, и опять почему-то все смеялись над ним, а не над тем, кто убегал. Не было никакого позора в том, чтобы от него убежать, — вот до чего он был не главный.

Или, например, Матвей с нашего двора. Тоже очень сильный, у него брат боксер. Но все равно никогда ему свою силу не использовать, — слишком уж легко его рассмешить, особенно стихами. Он совершенно не умеет разозлиться как следует, в нем нет настоящей силы ненависти. Скажешь ему, допустим: «Матвей-дуралей, лучше ты меня не бей» — он и готов. Хохочет, как в театре. Видимо, стихи на него действуют очень сильно, как щекотка, и вся злость сразу проходит.

И у каждого есть какая-то особенность, из-за которой ему не стать главным. Толик Семилетов засматривается. Люся Мольер — девчонка. Феликс Чуркин мог бы, но он вечно пристаёт ко всем и спрашивает: «Ну расскажи, что ты обо мне думаешь?» Его это очень интересует. Какой же он надо мной главный, если ему не наплевать, что я о нем думаю. Со мной вообще дело ясное: и принимают-то еле-еле, куда уж тут главным!

А главный у нас — Мишка Фортунатов.

В какой-то книге есть действующий персонаж — Железный Дровосек. Так вот Мишка точно такой же. Железный. Он, когда вырастет, станет крупным героем, а может быть,

и раньше. Я в этом совершенно уверен. И уж силы в нем никакой особенной нет: если бороться по правилам, то я его поборю (мы несколько раз боролись). Но ведь он ни за что не сдастся, вот в чем все дело. Он каждый раз будет вскакивать и начинать все сначала, пока я сам не скажу, что хватит, и выйдет вроде бы его победа. А я наверняка скажу «хватит», потому что мне надоест, или устану, или даже неизвестно почему. И во что бы мы во дворе ни играли, чем бы ни занимались, если Мишке вдруг расхочется, то и все, никакая игра без него не выходит, хоть лапта, хоть «колдуны», хоть «казаки-разбойники». Если он вдруг отойдет в сторону и сядет на траву, никакого удовольствия от игры уже не остается, и остальные тоже разбредаются потихоньку или садятся вокруг него, вокруг Мишки. А если кто-нибудь другой уйдет, — пожалуйста, скатертью дорога, никто и внимания не обратит.

Зато он столько придумывал всяких новых игр и наслаждений, с ним невозможно было соскучиться.

Например, он изобрел пуговичный футбол. Это была такая психическая игра, что по всему двору сразу же началась всеобщая пуговичная болезнь. Лучшие игроки были у Мишки. У него было два крайних нападающих, братья Красенькие, с таким пушечным ударом, что пуговица-мяч летела как пуля и даже отрывалась иногда от пола в воздух и залетала в ворота через вратаря. Ему за каждого из братьев предлагали по целой футбольной команде, но он не соглашался, потому что после каждой игры ему нужно было бежать домой и незаметно пришивать Красеньких обратно к маминому пальто.

После футбола Мишка начал собирать марки. Он сразу достал где-то кучу марок и специальный марочный альбом. Мы тоже подоставали марок — кто где. Самое интересное было выторговывать, спорить и меняться после школы у Толика Семилетова. Там мы все и собирались, как на базар, и кричали друг на друга:

— Ты что — спятил? За один паршивый Мозамбик — две Аргентины? Ведь эта Аргентина в другом даже полушарии. Соображать надо.

— Ну и что? Зато здесь слон, а там какой-то старикашка скрюченный.

— А на что мне твой слон? На что мне слон? Что, я его в Зоопарке не видел? Этот твой Мозамбик — зависимая колония, им что прикажут, то они и рисуют, а Аргентина

сама себе голова. Захочет, старикашку нарисует, а захочет, — самолет.

— Ладно, тогда ты еще добавь Аргентину с самолетом, а я тебе Швейцарию с охотником.

— Нет, лучше ты дай мне одногоглазого португальца, а я тебе синюю пальму.

«Ты мне ту, а я тебе эту... Ты мне... я тебе» — и так весь вечер.

У Мишки была из всех самая железная воля. Он достал еще специальный марочный пинцет и очень этим пользовался — подцепит какую-нибудь марку и говорит, допустим: «Япония? Барахло. Нет другого такого барахла, как Япония».

И все ему верят, выменивают Японию почти что даром, по пять за одну. А на следующий вечер он уже про другую страну говорит, что барахло, или даже про целую часть света, например, про Австралию. Конечно, его коллекция росла очень быстро, быстрее всех. Так быстро, что даже неинтересно.

Другое дело — книги.

Когда Мишка Фортунатов собрал своим железным пинцетом марки со всего нашего двора, ему тоже сделалось скучно, он их забросил и начал ходить в читальню. Конечно, мы тоже стали ходить вместе с ним. Нам давали читать такие старые книги, которых в обычной жизни не достать ни за какие деньги. Мы занимали целый стол, клали книги на деревянные подставки, на пюпитры, и читали подряд целый вечер, пока не закрывалось. За нашим столом никто другой не мог сидеть, потому что мы весь вечер нарочно сосали петушков на палочке, — никто этого не выдерживал. Если правильно сосать петушка, получается жуткий звук, с непривычки совершенно невыносимый. Так что все уже знали, что это наш стол, ничего не поделаешь. И библиотечка на нас не сердилась. Ей, видимо, нравилось, что мы у нее такие постоянные читатели, не какие-нибудь случайные проходимцы, которым нужно готовиться к экзаменам. Она нас всех знала по имени и сама выбирала лучшие книги, аж мохнатые от старости, только заставляла запоминать фамилии писателей. Не знаю, зачем это ей было нужно, но мы запомнили: Дюма, Жюль Верн, Гайдар, Вальтер Скотт и Кассиль.

Еще она нам советовала обсуждать прочитанное, а мы и без нее только об этом и говорили, спорили просто до крика, пока шли из читальни домой.

— А д'Артаньян ему кричит: «Не в вас, милорд, не в вас!

В вашего коня». И стреляет лошади в спину — на полном скаку.

— Подумаешь, д'Артаньян. Да мой Айвенго твоего д'Артаньяна хлопнет мечом по башке, он и готов.

— А д'Артаньян твоего Айвенго шпагой насквозь.

— А Айвенго спрячется за щит и копьем его, копьем.

— А д'Артаньян из пистолета «трах»! Никакой щит не поможет.

— Да, а тут мой всадник без головы кинет лассо...

— Уж лучше бы вам с безголовым всадником сюда не вмешиваться. Ищите там свою голову и помалкивайте, пока руки-ноги не отрубили.

— И найдем! А ты что думал? В конце книги наверняка найдем. Я еще не дочитал.

Иногда мы целый день так спорили. И сражаться теперь тоже стало интереснее. Было, по крайней мере, что кричать, не одно «ура» да «вперед».

— Защищайся, презренный!

— Умри, несчастная!

— К барьеру!

— На abordаж!

— По коням!

Сначала мы сражались деревянными саблями, а потом нашли где-то толстую проволоку и стали делать шпаги из нее. Получался отличный звон мечей во время боя.

И вот однажды мы сидели на дровах и гнули себе новые шпаги. Самое трудное было сделать красивую рукоятку, эфес. Матвей гнул прямо руками, только самый кончик, острее загнул, как мы, плоскогубцами. Все загибали кончики, чтобы не было больно, если попадешь, один только Мишка Фортунатов ничего не загибал, а, наоборот, затачивал напильником.

— Уж если попаду, то не откажешься, — говорил он. — Не будешь спорить, что не убит.

Вот он какой был отчаянный. Не боялся сражаться острой шпагой. Я бы тоже не побоялся с ним сразиться, но это же совсем другое дело. Тут можно и защищаться и нападать, ну а если он в тебя ткнет, то и что? Поцарапает до крови, только и всего. Совсем другое дело — самому сражаться острой шпагой. Я бы, наверно, только и думал, как бы мне не задеть кого, не поранить — страшное дело. По-моему, острой шпагой можно только защищаться, ни на что другое она не годится, во всяком случае для меня. Нет, до Мишки мне было

далеко, и, конечно, никогда не стать таким отъявленным героем, как он. Наверное, и другие так думали, я в этом уверен.

И вот он, Мишка, железный человек, он тоже не был самым главным. Страшно подумать, но так оно и было — он тоже кому-то подчинялся. Потому что, как раз когда он кончил точить, во двор вошел сам Сморыга в своей натянутой кепке, дымя из-под носа окурком, и сказал, даже не очень громко:

— Эй вы, одна нога здесь, другая там. Скачи все сюда.

Наверное, мы бы не пошли, не подчинились. Матвей, например, дернулся, но оглянулся на Мишку и сел на место. А Мишка помолчал, будто думал, потом положил шпагу и напильник и медленно пошел к Сморыге. Он медленно шел и смотрел куда-то в сторону, будто сам по себе, но на последних шагах не то побежал, не то прыгнул. В общем, затропился. Это было так позорно, просто до слез.

Мы тоже подошли вместе с ним.

Сморыга нас оглядел, потом пересчитал: «Раз, два, три, четыре... Ты, ты, ты и ты, марш за мной» — и пошел.

— Куда это? — спросил Мишка.

— В тридцать восьмой, понял? Бердяй зовет, понял?

И погасил свой окурок о Мишкину шапку.

А Мишка ничего.

Вот что за тип был этот Сморыга.

ГЛАВА 6. МУЗЫКА



Теперь у Бердяя в комнате уже стояли стол, два разных стула и пружинный матрас, правда, голый еще, без кровати. На матрасе, потирая колени, сидел неизвестный старикан. Ну и нос у него был, просто незабываемый, как пикирующий самолет с крыльями.

— Заходите, ребята, — сказал Бердяй. — Садитесь. Как успехи в учебе? Это вот мой новый знакомый музыкант и дирижер, пришел к нам за помощью.

Музыкант и дирижер поклонился нам и сказал не вставая: — Дети, слушаете ли вы радио?

— Слушаем, — ответили мы. — Конечно.

— А если играет музыка, ведь и тогда тоже, наверное, слушаете?

— Конечно, слушаем. А что? Не выключать же.

— Вот видите. Я так и думал. — Тут он подмигнул и спросил: — Ну и как? Незабываемые образы? Сладкие звуки? Чудные мгновения? Все это есть? Мой час настал, и вот я умираю?.. Фигаро здесь, Фигаро там?..

Мы тоже начали подмигивать друг другу и ухмыляться, кто-то пропел: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный...»

— Ну, что я тебе говорил? — сказал Бердяй. — Золотые ребята. Для меня в огонь и в воду.

Дирижер кивнул ему, хлопнул коленками и снова заговорил, теперь уже без всякого подмигивания:

— Так вот, золотые мои ребята, пока мы тут с вами каждый день наслаждаемся музыкой, то да се, некоторые люди, а именно деревенские колхозники, без радио годами ничего не слышат, кроме балалайки или, скажем, пения птиц. Это те люди, которые нас кормят, поят и одевают своим героическим трудом на полях и пастбищах страны, и мы не можем мириться, мы обязаны прийти им на помощь.

Бердяй ахнул, а кто-то тихо сказал: «Да мы не умеем». Но дирижер так посмотрел — просто застрелил взглядом.

— Я не говорю о вас. Мой оркестр, заслуженный коллектив эссесер, уже выехал в не столь отдаленные районы, и теперь дело за малым пустяком: нужно доставить туда же инструменты. Но кто погрузит их на машину? Кто, я вас спрашиваю. Может быть, эти грузчики, которые грубыми руками переломают даже трактор, не то что предметы искусства? Или я сам, кому медицина запретила поднимать тяжести свыше одного килограмма? Нет, здесь нужен тонкий и чуткий подход людей, любящих музыку. Таких, как вы. Поэтому я хочу спросить: согласны вы или нет помочь в таком деле?

— Согласны! Меня возьмите, меня! Можно, я! — закричали все. Я тоже кричал, хоть не было никакой надежды. Я был уверен, что меня не возьмут. Сколько раз так бывало — всех берут, а меня нет.

Дирижер начал отбирать ребят пальцем, а я изю всех сил делал тонкое и чуткое лицо, так что даже щеки заболели.

— А ты почему морщишься? — спросил он меня. — Или не хочешь?

— Хочу, конечно, хочу! — завопил я, и лицо у меня стало обыкновенным, никакой чуткости.

— Вот и хорошо, — сказал дирижер. — Ты понесешь аккордеон. Значит, сколько нас? Четырнадцать человек. Прекрасно. Приходите завтра в одиннадцать часов к кинотеатру «Гром». А ты, мальчик, не приходи, — ткнул он пальцем в Смoryгу. — По своему виду ты очень далек от музыки.

— В гробу я видал вашу музыку, — сказал Смoryга и сплюнул.

— Что?! Ты, я вижу, настоящий грубиян. Нет-нет, ни в коем случае не приходи.

— Ответишь еще за грубияна! — крикнул Смoryга.

— Спокойно, спокойно, — сказал Бердяй. — Смoryга, ша. Дало башлевое, сиди тихо. Или лучше погуляй-ка по улице, проветрись.

Смoryга снял кепку, потом опять надвинул ее до красного рубца на лбу (у него от кепки всегда был рубец, — наверно, на всю жизнь) и ушел, трахнув дверь головой, руки в карманы. Когда мы вышли, его уже не было.

Следующий день был воскресенье и почти настоящая весна. Таврический сад закрыли на просушку, мы шли рядом, а он мелькал за оградой весь черный — деревья, кусты и лужи, черные и блестящие, словно из нефти. Вдоль ограды остался еще снег, он был тоже черный и зубчатый. Зубцы торчали в сторону солнца. Еще вчера все здесь было не так, а завтра тоже будет не так, только дома улицы и провода кругом ничуть не менялись, а сад менялся каждый раз, он из них из всех был единственный живой, рос очень быстро каждый день, и мне до смерти нравилось идти рядом с ним и рассматривать. В одном месте вокруг теплого люка даже выросла уже зеленая трава — самая первая трава во всем городе.

— Чур, не я несу флейту! — ни с того ни с сего заорал Матвей. Я даже вздрогнул.

— Чур, не я! Чур, не я!

— Чур, ты несешь рояль! — крикнул ему Мишка.

— А я аккордеон!

— Патефон!

— Первую скрипку!

— А ты что?

— Я — ноты, пюпитры и левую палочку от барабана, — сострил Толик. Уж кто-кто, а он разбирался в музыке, знал, что выбирать.

В «Громе» шла «Сильва», и дирижер ждал нас под афишами. На афишах двое тянулись друг к другу зелеными губами.

«Кому это может быть интересно?» — подумал я.

— Сейчас мы все пойдем в Дом культуры, — сказал дирижер, — и будем поддерживать там полную тишину и порядок. А главное, ни с кем не разговаривайте, никому не отвечайте. Если с вами заговорят, показывайте на меня и мычите, как глухонемые. Понятно?

— М-м-мы... М-у-у... — замычали мы. — Помятмо, помятмо...

— Ну, все, пошли тогда, — сказал дирижер. Потом снял шляпу и перекрестился — вот, ей-богу, не вру.

Идти надо было сначала через проходные дворы, потом по ступенькам вниз, вверх, опять вниз и в дверь с надписью мелом: «Не стучитесь понапрасну». За дверью спал сторож в валенках. Дирижер с ним все же поздоровался, но тот не ответил. Дальше шла маленькая лестница, которая выходила на большую — с пальмами, с картинами и коврами, и мы поняли, что это уже Дом культуры.

Там не было никакой тишины, никакого порядка. Нечего было и поддерживать. Шум стоял страшный, особенно в коридоре. Пока мы проходили мимо какой-нибудь двери, еще можно было понять, что вот тут поет хор, тут читают стихи или свистят художественным свистом, но все вместе они ревели, как сцепившиеся грузовики, — перетягивали друг друга, и побеждал то один, то другой, то третий. Какие-то теткли бежали нам навстречу в костюмах маленьких лебедей, расталкивали твердыми юбками, похожими на цветы, и за ними — другие, в синих платьях до полу; эти вдруг подхватили меня (я шел последним) и с криком: «Танцевать, танцевать!» — потащили с собой. Я еле отбился.

Дирижер остановился у таблички «кладовая» — там было немного потише. Он достал из кармана пригоршню ключей и начал тыкать ими в замок, но ключи или не лезли, или не поворачивались там, а один начисто сломался. Дирижер от злости дернул дверь за ручку и чуть не упал — она свободно открылась, потому что была не заперта.

— Заходите, заходите, ребята! — закричал он. — Но без меня ничего не трогайте.

В кладовой полно было всяких музыкальных инструментов, а в углу стоял настоящий рыцарь, к сожалению, пустой

внутри. Дирижер начал хватать инструменты и совать каждому из нас.

— Быстрей, — говорил он, — быстрей. Отходи в сторону. Получил — и в сторону. А ты, мальчик, зачем взял две скрипки? Ишь ты, Паганини какой нашелся. Мало ли что унесешь. Ни в коем случае, только по одному. Ах, контрабас бы еще взять. Что за оркестр без контрабаса.

— Я унесу, — сказал Матвей. — Давайте.

— Неужели унесешь? Какой ты молодец.

— Он и рыцаря может унести.

— Нет, рыцаря в следующий раз, — сказал дирижер. — Дойдет очередь и до него. А ты, мальчик, возьми ту трубу.

— Это не труба, это тромбон, — сказал Толик.

— Да-да, конечно, тромбон, мне отсюда не видно. Ну, все теперь? Поехали. Только полная тишина, никаких разговоров.

Мы вышли за ним в коридор и гуськом пошли обратно. Мой аккордеон был такой красивый, особенно клавиши, — их хотелось положить в рот и пососать, отдельно беленькие, отдельно черненькие. Поиграть, конечно, тоже было бы неплохо, но дирижер не давал. Он бегал рядом с нами и хватал за руки, все упрасивал, чтоб потише. Вдруг из какой-то двери впереди выскочила рыжая женщина с промокашкой в руке и радостно закричала:

— Сюда, ребята, сюда! Сергей Николаевич сейчас придет.

Первые в растерянности остановились и начали потихоньку мычать и оглядываться. Наш дирижер даже присел от возмущения, но тут же кинулся головой вперед на женщину — она еле успела отскочить.

— Какой Сергей Николаевич?! Что вы пристали к детям? Это мои дети, а не ваши. Это оркестр легкой детской музыки, если хотите знать, мы спешим на концерт. Нам дела нет до Сергея Николаевича!

— Простите, я не думала... я не знала, — говорила женщина.

— А надо бы знать! Хватаете исполнителей, нервируете, срываєте всю аферу. Идите, дети, не бойтесь, проходите на выход.

Он даже погладил Мишку по головке (это Мишку-то!). Женщина с промокашкой все что-то говорила и протягивала к нему руки. Видно было, что она может сейчас заплакать. А тут еще Матвей — ему впереди ничего не было видно и он

ненаарочно наехал на нее контрабасом. Наверное, она упала. Во всяком случае, когда Матвей прошел, там уже никого не было.

По дороге к нам еще несколько раз приставали, спрашивали, куда мы идем и что это такое с собой тащим, и дирижер каждый раз сердито кричал на них:

— Это со мной! Оркестр легкой музыки. Неужели непонятно?

Наконец мы вышли мимо валенок сторожа на улицу и там опять прошли несколько одинаковых дворов, — кажется, уже других. В одном стояла машина с фанерным домом вместо кузова. Дирижер быстро залез туда, в этот дом, и начал принимать у нас инструменты. Тут уж мы не стерпели, каждый на своем что-нибудь сыграл, прежде чем отдать ему. Вышел небольшой концерт неизвестного сочинения, некоторые жильцы глядели в форточки и швыряли в нас мелочь. Я тоже пару раз рванул свой аккордеон. Получил бездну удовольствия.

Когда все погрузили, дирижер, утираясь, спустился из домика на землю и вдруг зашатался и сел на ступеньку около кабины. Видимо, ему стало нехорошо. Он достал какую-то бутылочку и вытряхнул на ладонь три таблетки, потом хлопнул себя ладонью по рту и начал глотать всухую.

— Может, воды принести? — спросил я его.

— Нет, не надо... сейчас пройдет, — сказал он, глотая и выпучивая глаза, и неожиданно начал всхлипывать, шмыгал своим незабываемым носом и повторял: — Все хорошо... все обошлось... слава богу. Ребятки вы мои золотые, хорошие мои. Где же?... Что же я вам?... Ага, билетки... вот они, билетки...

Он потянул из кармана сложенные гармошкой билеты в кино, начал отрывать их и давать каждому в руки, а некоторых обнимал и прижимал к своему животу. Потом залез в кабину, затарахтел мотором и уехал, помахав нам через стекло рукой. Повез музыку в деревню.

— Ай да дирижер, — сказал кто-то. — Грузовик умеет водить!

И мы побежали в кино смотреть «Сильву» с зелеными губами. Ну и фильмик эта «Сильва» — чушь, каких мало. То есть самая несусветнейшая чушь, одна любовь и поцелуй, зато музыки — хоть залейся. Вот что надо в деревню, если уж им действительно так плохо там без музыки.

ГЛАВА 7. ВЫ БЫЛИ ТАК ДОБРЫ



С тех пор как нас узурпировали, дома началась такая жизнь, что я старался там только спать, и после школы сразу же уходил во двор. Правда, я и раньше не любил бывать в нашей квартире подолгу — уж слишком много там было опасностей; непривычный человек, например какой-нибудь вор, погиб бы в ней, как несчастный путешественник в джунглях. Взять самый пустяк — дойти по коридору до кухни. В коридоре была одна лампочка на три поворота, а выключатель как раз рядом с экономной бабкой. Нужно бы-

ло сперва ощупью до него добраться, зажечь свет и мчаться со всех ног (а до кухни далеко), пока бабка не успеет выскочить из своей комнаты и погасить. Последние метры приходилось бежать в полной темноте. Тут-то кто-нибудь и выходил с кастрюлей, будто ждал за дверью. Хорошо еще, пустая, а если с супом, с кипятком?

Таких случаев было сколько угодно.

Но с бабкой ничего нельзя было поделаться, потому что сама она отлично видела в темноте. Невозможно было ей доказать, что остальные никто не видит, она считала, что так, капризничают и притворяются, лишь бы ей насолить и разорить вконец на электричестве.

У кого были фонарики, носили их всегда с собой, но все равно часто, сидя в комнате, я слышал за дверью удары, столкновения и крики и каждый раз очень волновался за маму — а вдруг это ее.

Попасть в квартиру было тоже очень трудно. Ключ мне не давали, считали, что я, как малолетка, могу напустить полный дом грабителей, — приходилось звонить. Кто-нибудь подходил к двери после пятого звонка и заводил волынку на целый час:

- Кто там?
- Да это я, Боря.
- Какой Боря?
- Боря Горбачев из третьей комнаты. Вы же меня знаете.
- Так говоришь, ты Боря Горбачев. А я кто?



— А вы Александра Пахомовна.
— А фамилия моя как?
— Басилина. У вас в комнате еще телефон, только вы никому не дадите звонить.
— Верно, голубчик, верно, не даю. Может, ты и вправду Боря. Голос уж больно похожий.
— Ну конечно, это я. Пустите, мне уроки нужно делать.
— А кто там еще с тобой?
— Да нет здесь никого.
— Как нет? Я же слышу, кто-то дышит.
— Это я сам и дышу. Что же мне, не дышать, что ли?
— Да я не про тебя, я про другого. Ты ему скажи, что у меня в руках топор; как он войдет, так я его по башке и тюкну. Скажи, что без топора я и не открываю никогда, — пусть уж знает.

— Александра Пахомовна, только вы меня не тюкните. Вы разберитесь хорошенько, прежде чем тюкать.

— Да, Боренька, где ж тут разобраться. Тут уж времени не будет. Да и вижу я плохо теперь, очки у меня неподходящие, давно бы сменить пора, а все некогда.

— Нет, Александра Пахомовна, я, знаете, лучше пойду еще погуляю.

— Погуляй, мальчик, погуляй. Погода-то хорошая?

— Хорошая.

— Дожда нет?

— Нет.

— Ну и гуляй себе на здоровье.

Так и гулял весь день, пока не возвращалась мама или кто-нибудь с другим ключом. Какие уж тут уроки. А с тех пор, как нас узурпировали, и вовсе негде стало учиться, разве что в школе на переменах.

В первые дни Ксения Сергеевна только и делала, что благодарила мою маму, расхваливала ее прямо в лицо, какая она чудная, отзывчивая, таких теперь и не бывает. Они старались нас поменьше стеснять, стелили себе на полу рядом с диваном, а на диване спала Катенька. Мама тоже во всем шла им навстречу и уступала. Например, у них не было посуды, утюга, наволочки, примуса, зеркала и вешалки — она им все дала. Но Ксения Сергеевна не растерялась и выстирала всю мою одежду, занавески на окнах, скатерть и купила на последние деньги абжур. Тогда мама увела с собой Надю и устроила ее работать в справочное бюро на своем вокзале.

Надя в ответ принесла восемь вязанок дров и выстояла длинную очередь за сахаром для всех.

Потом началось настоящее соревнование.

Мама сшила Катеньке передник.

Ксения Сергеевна выкрасила заново дверь и печку.

Мама достала ей походную складную кровать.

Надя прогнала из комнаты всех клопов.

Я три раза погулял с Катенькой в Таврическом саду.

Катенька изрисовала карандашом все стены.

Дошло до того, что Ксения Сергеевна решила заниматься со мной географией. Это было уже ни к чему, но, к счастью, тут у них с мамой случился один разговор, и про географию как-то забылось.

В тот вечер я, как обычно, лежал с головой под одеялом — притворялся, что сплю, но в действительности все слушал и смотрел через шелку. Ничего особенного там не происходило, сплошные мелочи жизни, но через шелку они казались интересными, как кино. И не в том дело, что Ксения Сергеевна иногда молилась тайком, а Надя незаметно перекладывала деньги из одной подушки в другую. Главное, они ходили и разговаривали как нормальные люди, без всякого воспитательного притворства для меня, и это было очень интересно, будто попал в новую страну или совсем на другую планету. То есть вполне возможно, что и при мне, если б я сейчас высунул голову из-под одеяла и с открытыми глазами, они бы делали и говорили то же самое, но тогда бы я не был уверен, мне опять бы казалось, что они притворяются передо мной в воспитательных целях.

Надя и Катенька по-настоящему спали, а Ксения Сергеевна пила чай с конфетами. Правда, эти конфеты при нас она никогда не доставала, хранила весь день под своей подушкой, но разве это тайна. С едой вообще была какая-то путаница, тем более — все по карточкам. Мама, например, вызывала меня со двора и быстро чем-нибудь кормила, пока их не было дома, а они тоже при нас никогда не ели. Но раз они не умирают с голода и даже не худеют, значит, едят же где-то, думал я и ловко усыплял свою совесть, как сказал бы дядя Павел. Ксения Сергеевна, во всяком случае, не худела, походная кровать под ней прогибалась до самого пола.

Когда пришла мама, она еле успела спрятать свои конфеты под подушку. Тоже не очень-то красиво, насколько я

понимаю. Мама с удовольствием поела бы конфет, если б ее угостили, она как раз такие любила. По-моему, нет ничего хуже, чем так вот спрятать конфеты и тут же приветливо улыбаться, расспрашивать о погоде, о работе и какие крушения случились сегодня на железной дороге. Тем более что мама устала, еле смогла снять боты.

— Ну, а вы как тут без меня жили? — спросила она шепотом. — Как Боря?

— Чудный мальчик. Весь день гулял, и никто не пришел на него жаловаться. Он у вас очень славный, только несколько экзальтированный. (Это я-то экзальтированный!)

— Конечно, дети военных лет, откуда им быть спокойными. Бомбежки, эвакуации, переезды.

— Ах, ах, ужасная судьба.

— Все детство не иметь постоянного дома, такого, в котором знаешь: вот выйду и будет дверь с пружиной, дальше улица, а через дорогу сад, и там есть дерево и обломанный сук, с которого свалился в прошлом году. (Откуда она узнала про сук? Я ей никогда не рассказывал.)

— Да-да, конечно, — сказала Ксения Сергеевна. — И еще питание, знаете ли, тоже... витамины, жиры, углеводы...

— Нет, дом важнее. Мне кажется, ребенку это совершенно необходимо, чтобы был освоенный кусочек земли, хорошо бы с крышей и стенами посредине, такой вроде бы плацдарм для дальнейшего наступления на жизнь, если выражаться военным языком. А тут весь дом — мама и три чемодана. Все остальное несется мимо, меняется каждый день, неизвестно, где заснешь, где проснешься. И отца нет, и писем иногда месяцами... Да что я рассказываю, вы и сами не хуже меня знаете.

— Мне ли не знать, — закивала Ксения Сергеевна. — Дом — вы очень верно описали его назначение, так сказать, огромную роль в воспитании детей. Отлично сказано. И я хотела — хотела уже давно, но в связи с этим разговором... раз уж пришлось к слову... Надеюсь, вы меня правильно поймете. В общем, как ваши дела?

— Какие дела? — не поняла мама.

— Ну... с квартирой. Удалось вам чего-нибудь добиться за это время?

— Добиться? За это время? Чего я должна была добиться? — изумилась мама.

— Ну как же. Другой комнаты для себя и сына.

По-моему, мама тут вскрикнула. Или вскрикнула, или поперхнулась, или закашлялась, — в общем, звук был какой-то ненормальный. Ксения Сергеевна, кажется, испугалась.

— А что? Что я такого сказала? Чему тут так удивляться?

Мама ничего не отвечала ей, смотрела прямо в глаза и качала головой, будто говорила: «Нет, не может быть, не верю своим ушам».

Ксения Сергеевна заметалась под взглядом моей мамы, спрятала зачем-то чашку под скатерть, снова достала и все время старалась делать обиженное или даже слегка презрительное лицо.

— Вот вы, значит, какая, — сказала мама. — Значит, сами вы ничего не предпринимали, надеялись на меня. Прекрасно!

— Я не позволю... — начала Ксения Сергеевна.

— Зато я позволю, — сказала мама с бесповоротным выражением. — Позволю себе сказать, что сделала глупость, пустив вас в комнату, поддавшись минутной слабости. Тем более что у меня не было на это никакого права, я должна была прежде всего думать о собственном сыне, о муже, который может скоро вернуться. Но я надеялась, что это временно, что вы поймете, а вы... Вот вы попиваете теперь чай и спрашиваете, удалось ли мне чего-нибудь добиться!

— Нет, вы меня неправильно поняли... я не хотела. Вы были так добры, я думала, что и дальше...

— Да, я была добра, — сказала мама звонко, без всякого шепота. — И мне это очень нравилось. Все ругали меня, и соседи, и брат, называли дурой и тряпкой, но я только смеялась. А теперь я вижу, что они были правы. Ах, я не хочу, не хочу, чтобы они были правы. — Она вдруг тихо заплакала. Я чуть не выскочил из-под одеяла. — Это вы заставляете меня поверить им и согласиться, а я не хочу! Мне это очень трудно и противно, а вы...

— Ну, хорошо, ну что вы, право?.. Я завтра же пойду хлопотать, мы посрамим и соседей и брата, как им не стыдно! Только не плачьте, голубушка вы моя, завтра же я пойду — и все будет хорошо...

— Ах, никуда вы не пойдете, — безнадежно сказала мама и вытерла глаза. — И все они были правы, кто меня ругал, тысячу раз правы. Просто не представляю, чем теперь все это кончится.

ГЛАВА 8. МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...



пустой и недостроенный, и над забором торчал начатый второй этаж с половинками окон — жить там, конечно, было нельзя.

Я уходил на улицу с утра и на целый день. Во дворе теперь нечего было делать, все куда-то разъехались, зато на улице прокладывали газ. Весь день я сидел на горе песка и смотрел, как прокладывают газ, — интереснее этого ничего я не видел в жизни. Удивительно, что никто не догадался продавать билеты на такое зрелище, я уверен, что были бы огромные очереди и колоссальный успех. Чего стоил один экскаватор! Он рычал, кусал землю, погребал ее под себя зубчатым ковшом и доставал наверх, как поварешкой, потом дергался в сторону, проносил ковш высоко и высыпал его на конец песчаной горы. При этом гора вблизи него тряслась и потихоньку стекала обратно в траншею. Но он быстро отползал на своих гусеницах дальше и снова грыз, подгребал и высыпал — на это можно было смотреть без конца. А если надоест, стоило повернуться и смотреть в другую сторону, откуда он приполз. Там голые плотники в белых штанах обшивали стены траншеи досками, за ними уже спускали на цепях черные трубы, залитые смолой, а еще дальше сверкала электросварка. Она сверкала так далеко, и все мгновенно делалось голубым. Голубые плотники забивали голубые гвозди голубыми топорами. Голубой экскаватор ел голубую землю. Одни тени на стенах были черными — они вспыхивали и сразу же исчезали, и потом глазам было немного больно и темно.

Я очень долго мог сидеть там один, смотреть и ни с

кем не разговаривать, и это было очень хорошее, нескучное одиночество.

Иногда еще, если мама давала деньги, я ходил в кино. В кино все были невероятно смелые, и я думал: смог бы я сам вот так же стрелять из пулемета, бежать в атаку и храбро сражаться штыком и гранатой? Мне казалось, что смог бы. Во всяком случае, очень хотелось смочь. Но в одном фильме, не про войну, показывали мальчишку, который бился со змеей. Я на такое совершенно не способен. Он спокойно шел по своим делам, шел босиком, а змея вдруг выползла на дорогу и уставилась ему в лицо. Огромная змеинная голова во весь экран! Смотрит на тебя злыми глазами и только языком стреляет, будто облизывается. Это же такой нестерпимый ужас. И мальчишка побежал. Ему не очень нужно было идти туда, куда он шел, то есть дела у него были пустяковые — свободно можно было убежать домой, тем более что змея за ним и не гналась. Но он вдруг остановился. Остановился и смотрит назад, на змею, а змея опять во весь экран. И так несколько раз — мальчишка, змея, мальчишка, змея.

И вот этот мальчишка поднимает палку и медленно идет к змее. Боится он ее страшно, просто трясет всего, но идет. А змея приподнимается ему навстречу и начинает задыхаться от злости, свистит и шипит. Он идет босиком, поднимает палку, змея его ждет, шипит... Я почувствовал, что сам вот-вот сползу со стула от страха. И тут он кинулся на нее, ударил, но промахнулся, а змея быстро обвилась по палке почти до руки, он еле успел палку отбросить, схватил другую — и снова на нее... Пыль, свист, змея! Как уж он с ней дрался, не помню, я, наверное, сполз на пол и ничего не видел. В общем, он ее убил. Раздавил палкой на дороге и пошел дальше по своим пустяковым делам.

Нет, мне бы такое не под силу. Как же так? Ведь его никто не видел, он мог бы свободно убежать, и никто бы даже не узнал. Это и не трусость даже — убежать босиком от змеи. А он вот не убежал. И никто этого не видел — вот ведь в чем главная сила.

Кроме экскаватора и кино, у меня не было никаких удовольствий. Зато была мечта, единственная жгучая мечта с утра и до ночи. Чтобы Сморгыга взял меня в свою шайку-банду. Я тысячу раз представлял себе, как это произойдет, но не верил в возможность такого счастья. Вот, например, я гуляю по улице и случайно захожу в тридцать четвертый

дом. А в кармане у меня случайно лежит наган. Иду через подворотню, заглядываю за дрова и вдруг вижу — там Смoryга со всех сторон окружен врагами. И они его случайно бьют.

«Стойте! Не шевелитесь!» — кричу я им. Но они не боятся и отвечают: «Еще один появился. Наверно, ему надоела жизнь». — «Если не прекратите, я буду стрелять», — говорю я. «Мы тоже будем стрелять», — отвечают они и продолжают бить Смoryгу.

Мне хочется оттянуть время. Хочется, чтобы они его подольше побили. И я кричу:

«Нечестно столько на одного!»

Тут они не выдерживают такого оскорбления и кидаются на меня всей толпой.

Я открываю ураганный огонь.

Они открывают ураганный огонь.

Мой огонь гораздо ураганнее.

Последний враг падает, не добежав до меня каких-нибудь полсантиметра. Я подхожу к бессознательному Смoryге, тормошу его, дергаю за уши, пока он не приходит в себя и не говорит слабым голосом:

«Это ты?.. Спасибо тебе, ты подросел вовремя. Я беру... беру тебя в свою шайку-банду».

И умирает.

Или вот еще.

По бурной реке, по Неве, плывет пароход. Кругом дождь и ветер. Я стою у борта на втором этаже и всматриваюсь вдаль. Вдали, как всегда, кто-то тонет. Я быстро надуваю ртом спасательный круг и кидаюсь вниз со второго этажа парохода. Я плыву к тонущему человеку и больно хватаю его за волосы. Человек кричит. Конечно, это Смoryга. Но я не обращаю внимания на его крики и слезы, плыву к берегу и вытаскиваю его за волосы на песок. Из него все время льется вода, течет обратно в Неву, как новый приток.

«Это ты? — узнает он меня. — Вот ты, значит, какой. А я и не знал». — «О чем тут говорить», — отвечаю я.

В это время из дождя выходят двое милиционеров под зонтиками, один светит на нас фонарем и говорит:

«Смoryгин, это вы? Вот так удача. Вы арестованы, вставайте».

И уводят его с собой. Но Смoryга оборачивается и кричит мне:

«Прощай! Передай всем нашим, что ты теперь будешь главарем шайки-банды. Вместо меня».

Это были лучшие слова моей мечты, только непонятно, почему милиционеры не вернулись и не забрали меня тоже, как нового главара. Видимо, поздно спохватились, и я уже уплыл обратно на пароход.

Два раза я видел Смoryгину банду в Таврическом саду. Один раз они сидели на двух скамейках и босыми ногами швыряли друг в друга всякую дрянь: желуди, камушки, окурки — это у них была любимая игра. Вокруг скамеек было пустое безлюдное пространство, как после взрыва. Никто не хотел пройти по той дорожке. Как я мечтал быть вместе с ними, в их рядах!

В другой раз они неслись по саду с леденящими криками — то ли гнались за кем-то, то ли, наоборот, убегали. Этого у них никогда невозможно было понять. Вероятно, им было безразлично, кто за кем гонится, — главное, чтоб была погоня. Смoryга пробежал совсем близко от меня, я видел, как он захлебывается от счастья и бешенства. Остальные тоже. Они топтали кусты, разбрызгивали лужи и свистели так, что опять от них шарахались и разбегались во все стороны.

Я вдруг тоже завизжал и понесся вслед за ними. Какое это восхитительное могущество, когда от тебя шарахаются, какой восторг!

Но он длился у меня недолго. Какая-то сторожиха сразу заметила, что я ненастоящий, примазавшийся самозванец, и выдернула меня из их толпы за рубашку, арестовала на всем скаку.

— Попался! — закричала она. — Попался малолетний преступник!

— Так его! Так его! — закричали кругом все, кто шарахался.

— Пустите. Вам за меня отомстят, — сказал я.

Но она не пустила, а заставила меня до вечера подвязывать поломанные цветы и поливать садово-парковые. Были там такие растения непонятного вида. Она знала, что за меня некому мстить, вот и пользовалась. Я носил воду и чуть не плакал от обиды и несправедливости. Мне давно хотелось поработать в Таврическом саду, это было бы настоящее удовольствие для прежнего меня, для неарестованного. «Ломать так мастера, портить умеете, а работать небось неохота? Не любишь работать, по глазам вижу, что не любишь», — гово-

рила она. Попробовал бы кто так со мной обращаться, если б я был в шайке-банде. И как она только догадалась? Нет, никогда я так не мечтал о могуществе и бессмертии, как в тот несчастный вечер.

ГЛАВА 9. БОИ ГЛАДИАТОРОВ



Наконец мама купила мне спортивный костюм. Без этого костюма я не мог ходить на футбол в Таврическом саду, все сразу принимали меня за обычного зрителя. Другое дело — в костюме. Если встать близко за воротами, вполне можно было сойти за брата вратаря, за запасного или за сына тренера. Шаровары были с резинкой; если оттянуть ее и шелкнуть себя по животу, все на стадионе оглядывались, даже судья. В общем, зеленый костюмчик что надо, швейной фабрики «Высший сорт».

Вокруг стадиона протекала речка, полная килек и головастиков; мы их ловили иногда и пускали в банки с водой, чтобы основать зоологический кружок. Больше во всем саду не было никакой живой добычи для нашего кружка, и он сам собой развалился, но мы каждый раз забывали и снова налавливали полные банки. Как-то неинтересно было ловить без всякой полезной цели. Только когда начинались спортивные соревнования, мы бросали ловлю и высаживались на высоком берегу речки, — это считалась собственная трибуна нашего двора.

Теперь, в костюме, я впервые в жизни увидел так близко настоящий футбол солдат против моряков. Как громко они дышали на бегу: «хы! хы! хы!» Солдаты играли в майках, моряки, конечно, в тельняшках, и судья еле изворачивался среди них; он был беспристрастный летчик, и каждый старался его незаметно ударить. Все были облеплены тополиным пухом, особенно мяч. Целые облака этого пуха падали с окружающих деревьев, плавали по полю, запутывались среди штанг, на штрафной площадке. Вратари без всякой нужды ныряли в них вдали от мяча для собственного удовольствия. Невозможно было предсказать, какая команда сильнее. Моряки бегали очень быстро и метко били между ног солдатского

вратаря, зато у солдат был страшный удар сапогом; они могли добить до моряцких ворот с любого конца поля, если бы им дали мяч и позволили спокойно прицелиться. Моряки пускались на любые хитрости, чтобы этого не допустить. Что и говорить, это была настоящая игра, не какой-нибудь пуговичный футбол и братья Красненькие.

С самого начала я чувствовал нестерпимый зуд и желание броситься на мяч, схватить его руками. Мне казалось, будь у меня собственный футбольный мяч, я бы ложился с ним спать под одним одеялом, ходил бы в кино и театры. Но папа написал маме, чтобы она ни в коем случае не покупала мне мяч, что это у меня врожденный вратарский инстинкт, так как он сам до войны был тоже вратарем, и, если купить собственный мяч, инстинкт от этого сразу погибнет и ничего путного из меня не выйдет.

Это было настоящее мученье — бороться с инстинктом. Никакой надежды на победу. В любой момент я мог сорваться и выскочить на поле. Я прыгал в ауте и шелкал резинкой, переступал черту и тут же выдергивал ногу назад, как из кипятка. Какой-то мальчишка перестал смотреть на футбол и уставился на меня, и я тоже уставился на него и, не видя мяча, понемногу успокоился.

Не скажу, чтобы он мне сразу не понравился. Даже наоборот. Я всегда хорошо отношусь к рыжим, потому что неизвестно еще, что хуже — быть рыжим или чтоб тебя куда не принимали. Этот был рыжий до неузнаваемости, не знаю, стал бы я с ним меняться.

Потом я о нем забыл. Зашел за ворота и стал смотреть на поле, вцепившись в сетку, как настоящий малолетний преступник. Так мне гораздо легче было бороться с инстинктом. Прямо передо мной прыгал солдатский вратарь в распушенной гимнастерке (тот самый, которому я, может быть, брат), и я его каждый раз громко предупреждал, в какое место сейчас забьют следующий гол. Слишком я увлекся этими предупреждениями, не чувствовал, что сзади на меня ни с того ни с сего тихо напали. А когда почувствовал и оглянулся, было поздно — он уже убежал.

Это был тот самый рыжий мальчишка.

Что он там делал за моей спиной? Я побежал за ним, чтобы узнать, и тут же растянулся, запутавшись в штанах, в своих чудных зеленых шароварах. Он перерезал мне шелкальную резинку, негодяй!

— Презренный трус! — заорал я (или еще какую-то грубость в этом роде) и помчался за ним. Шаровары приходилось держать рукой, но я несея с огромной скоростью, меня гнала настоящая сила ненависти. «Ну погоди, мало тебе, что рыжий, еще захотелось! Я тебе покажу! Испортил мне новый костюм, как предатель, получишь теперь у меня!»

Скрыться ему было невозможно, сверкал своей головой издали, как сигнальный огонь. Вот он близко уже, сейчас я его настигну! Ага, устал уже, садится на скамейку — сейчас, сейчас начнется расплата.

И тут кто-то передо мной внезапно возник.

Прямо-таки вырос из-под дорожки. Я чуть не врезался головой.

Это был Сморгыга.

Нет, он не тонул в реке, его не били враги и не арестовывали милиционеры. За его спиной была видна вся шайка-банда, они смотрели на меня молча со своих двух скамеек, и рыжий тоже был вместе с ними, а народу кругом никого, как выжженная пустыня. Значит, я с разгона залетел в самое их логово.

— Маленьких бить, — сказал Сморгыга и пошел на меня. Остальные тоже встали и пошли окружать меня. Видимо, все это у них было отработано заранее, чтобы уж не оставалось никакой надежды на спасение. Я только успел подумать, что мама будет очень беспокоиться и хорошо бы написать ей записку, но меня уже совсем окружили.

— Ата! — закричал вдруг кто-то и все нарушил. — Сморгыга, ата! Он с ножом!

Сморгыга отпрыгнул назад и крикнул:

— Ты что?! Бросай нож! Бросай, не то хуже будет!

— Да что вы. Какой нож? — сказал я и убрал пустую руку из-за спины. Шаровары, конечно, сразу упали.

Все же я не понимаю: это что, действительно так смешно, когда у человека падают штаны? Не такой уж это редкий случай; в бане, например, никто не придает значения таким пустякам. Может, они и в баню не ходят уже? В общем, хохотали они страшно, некоторые старушки на далеких скамейках встали и отсели еще дальше. Выжженная пустыня вокруг будто еще больше выжглась от их смеха. Они катались по скамейкам, визжали, обнимались, хотя я уже давно поднял штаны и подвязывал их веревочкой. Наконец Сморгыга взял себя в руки и сказал:

— Ну, все, амба. Конец. Раз так, — Рыжий, иди сюда. Ты ему штаны перерезал?

— Я, ну да, я! — закричал Рыжий. — Кто же еще другой.

— Молоток! Рыжий сегодня молоток. Но и ты, — он ткнул в меня пальцем, — ты тоже молоток. Значит, вам нужно стукнуться. Молоток с молотком, а мы посмотрим. Валяйте. Начали.

Вся шайка-банда встала вокруг нас кольцом. Рыжий тоже хотел встать в круг, но его вытолкнули вперед. Видно, ему очень не хотелось стукаться, он никак не ожидал такого оборота. Глядя на него, у меня тоже пропала вся сила ненависти, даже жалко его стало. Почему-то мне представилась одна нелепая вещь: как он лежит ночью в кровати и смотрит в потолок. Долго лежит и не засыпает, вспоминает свою несчастную жизнь. Хотя почему же нелепая, я ведь тоже так лежу, и довольно часто. Только что потолок другой и следы фонарей на нем другие, а так никакой разницы; а штаны я почию, продерну резинку булавкой и завяжу, мама даже не заметит, и не будет ей лишних огорчений, и мы все вместе с Рыжим будем ходить на футбол, и все будет отлично, и дружно, и хорошо...

Тут он как раз на меня кинулся. Завизжал для храбрости и полез, тыча вперед кулаками, — я еле успел увернуться. Но он сам почему-то упал — упал и смотрит на свою шайку-банду. А они ничего. Тогда он снова кинулся на меня и снова сам упал, кричит, что я ему ножку подставил. Тут я только понял! Он нарочно притворялся, хотел, чтобы они меня исколошматили всем скопом за нарушение правил. Сам же мне костюм испортил; мама старалась, покупала, а теперь еще так притворяется. Ну, как я его возненавидел в тот же момент! И только он на меня кинулся третий раз, я ему так звезданул, что он уже по-настоящему заверещал, прикрыл лицо руками и согнулся аж до коленок.

А потом полез в карман и достал бритву.

Он шел на меня, неся впереди бритву.

Он замотал руку платком, чтобы не порезаться самому, а только меня.

Он был еще больший мерзавец, чем Сморгыга.

У меня бритвы, конечно, не было, и я посмотрел на них: неужели они позволят ему сейчас так нечестно меня зарезать? И сразу понял, что позволят. У них даже глаза сверкали от нетерпения, плевать они хотели на всякие правила.

Я вспомнил мальчика со змеей и еще Мишку Фортунатова — вот бы где пригодилось его геройство с острой шпагой. Мне было так страшно, так не хотелось умирать. Наверно бы, я убежал, как последний трус, но бежать было некуда, они бы меня ни за что не выпустили.

Когда мы сцепились, я сразу схватил его за руки и повалил. Мы катались по земле, он вырывал несколько раз руки, но я каждый раз находил их снова в нашей свалке и схватывал и все время старался прижиматься к нему лицом, чтобы он не порезал мне глаза. Мы оба визжали, плакали и рычали, вся шайка-банда прыгала и кричала: «Так его! Ку-сай! Руби!» Это был настоящий бой гладиаторов не на жизнь, а на смерть. Мы катались до тех пор, пока не закатились под скамейку. Я быстро выскочил, а он не успел и начал ползать под скамейкой, пытаясь порезать меня оттуда. Это уже была с его стороны настоящая глупость, ошибка слепого бешенства. Я упал ему на руку обеими коленками, отнял бритву и искромсал ее в мелкие клочки.

Какая это была победа!

Меня всего трясло, и я думал только о том, как бы мне не заплакать, смелому победителю. Рыжий лежал под скамейкой один и непрерывно кричал «ой-ой-ой», будто не он только что собирался меня порезать. Я мог бы избить его ногами, мог придавить скамейкой — я все мог. Меня просто распирало от счастья и могущества, я не знал, что мне делать дальше, с кем еще следующим драться.

— Молоток, — сказал Сморгыга. — Парень-гвоздь, — и хлопнул меня по шее. — Завтра возьмем на дело.

— Свой в стельку, — закричал Сережа-Вася и щелкнул меня по лбу. Так больно щелкнул и улыбается, будто пошутил.

— В стельку сквозь петельку, — пошутил я в ответ и толкнул его в поддых. Он попробовал еще раз улыбнуться, но не смог: видимо, я ему метко попал, в самое сплетение.

— Атаанда! — закричал вдруг Сморгыга. — За мной! Рви когти!

И все бросились бежать.

Я, конечно, побежал с ними.

Мы неслись, как буря, как конная атака, как трамвай, опрокидывали скамейки, топтали любимые цветы и с корнем вырывали садово-парковые. Кажется, за нами гнались и свистели, но куда им! Снова все шарахались от нас на газоны,



и я бежал вместе со всеми, я уже был в шайке-банде. Вот мелькнула та самая сторожиха, которая меня схватила тогда, — теперь она уже не посмела встать на моей дороге, только дула неслышно в свой свисток. Она видела, что я уже настоящий преступник, что со мной шутки плохи. И пусть, пусть преступник! Я тоже буду теперь ходить с бритвой, тоже сделаю острую шпагу — чем я хуже? Раз они так, то и я так. Вот оно, настоящее могущество! Свистит ветер, мы мчимся. Сморяга впереди, и никто не смеет меня тронуть, а я победил рыжего, и завтра меня возьмут на дело — и пусть, и пусть, и пусть!

ГЛАВА 10. СВОИМИ ГЛАЗАМИ



Я смотрю вдаль из поезда.

Я вижу, как в этой дали по всему небу от края до края окна ходят дожди. Они сталкиваются, собираются в темную толпу, из них вполне уже может выйти гроза, но они все чего-то ждут, не начинают. Еще слева толчется маленький дождик, которого не взяли. Он вдруг срывается, несется нам наперерез и пропадает, — видно, ждет впереди

на рельсах. Ага, вот и лужи, и мокрая трава. Значит, он нас не дождался, вылился на пустую землю, на безлюдную, на безнасную. А мы себе едем дальше в лагерь.

Я думаю теперь о дожде. Мне вдруг становится непонятно, почему он идет или не идет. Хорошо, пусть капли тяжелые, пусть они падают вниз, раз уж такой закон природы, ну а раньше? Что они там делали и за что держались наверху? И как им удалось туда подняться? Вода нагрелась, испарилась, пар собрался в облака, облака в тучу — вот вам и дождь. Это я уже знаю, слышали. Но как же она испарилась — море-то не кипит. Сколько морей надо кипятить, чтобы нагонять такую прорву облаков на каждый день. Нет, я отказываюсь верить. Я не видел кипящих морей, я вообще не видел никаких морей, но как они держатся на земном шаре и не разбрызгиваются от его знаменитого вращения, это мне уже и сейчас заранее непонятно и ни-

когда, видимо, не понять. Я не верю, что есть неразбрызганные моря.

Вода кипит в паровозе, вот где, в том самом, который везет нас в лагерь. Это мне совершенно ясно. Паровоз оставляет за собой белое облако, мы под ним проезжаем, и я вижу его, — вот, значит, откуда они берутся.

Но облако такое мягкое, а паровоз такой твердый — как оно может сдвинуть его с места и гнать вперед, а за ним и весь наш поезд? Как это может случиться? Нет, я не верю этому. Облако не может дотолкнуть наш поезд до далекого лагеря. Я не верю, что мы едем в лагерь.

Но мы все же едем, с этим ничего не поделаешь. Я спорил, я отказывался, я не хотел брать путевку, но мама опять вела себя бесповоротно. «Почему, — спрашивала она, — почему ты не хочешь?» И я умолкал. Я не мог сознаться ей в шайке-банде и в том, что завтра меня возьмут на дело, — неизвестно, как бы она к этому отнеслась. Она и так успела заплакать, пока я не согласился.

— Ты испортил мне все удовольствие, — сказала она.

— Ты мне тоже, — ответил я.

Она подошла ко мне, обняла за голову и вдруг вскрикнула:

— Что это? Кровь! Откуда?

И правда, у нее на ладони была кровь. Значит, рыжий все же полоснул меня, а я и не заметил.

— Пустяки, — сказал я. — Это из меня. Не волнуйся.

Я вывернул назад руку, чтобы пощупать, и тут так больно стало под лопаткой, — я уронил руку обратно и не мог ничего больше выговорить. Рот вполне открывался, но звук не выходил, а если выходил, то совсем не тот, какой я хотел, будто забыл все буквы и начала слов. То есть глупо было бы говорить, что я не заплакал, что по лицу у меня ничего не текло. Не знаю, как это получилось. Слишком много всего накопилось за день, самых невозможных потрясений, просто сдала нервная система, а я ничего. Я плакать не хотел, мне это вовсе не было нужно (ведь все уже позади), а если нервная система сдала, так я не виноват. Конечно, врет Ксения Сергеевна, что я дитя войны и экзальтированный, но за нервы свои человек отвечать не обязан — это точно. Так мне хочется думать.

Я снова смотрю вдаль из поезда. С высокой насыпи земля видна даже за горизонтом, и я сам теперь вижу, как много

места повсюду занимала война. Мы едем уже час и два: дожди разбрелись из своей толпы и поодиночке поливают наши вагоны и рельсы, потом снова светит солнце среди облаков, а на всей дальней и ближней земле проплывают окопы, воронки в траве, «драконовы зубы», колючая проволока — на всей, насколько видно, земле. Как же это возможно? Если бы сосчитать по порядку номеров всех солдат первомайского парада и каждый из них занял бы один окоп или один блиндаж, это была бы капля в море. Откуда же взялось столько наших солдат, с какого такого парада, чтобы вырыть все эти окопы, построить блиндажи, надолбы и «драконовы зубы», а потом сражаться, защищать их и снова наступать вперед на врага: «Ура, в атаку, за мной!» И неужели, если б мы ехали дальше, до самого Берлина, то всюду были бы те же окопы, проволока и обломки танков, пушек и самолетов? Нет, это невозможно себе представить при помощи газет и фантазии, надо сесть в поезд и ехать и ехать, смотреть и смотреть. Как это не похоже на старинные войны, когда оба войска собирались в условленный день на одном Куликовом поле, русские громили своих врагов и потом снова могли спокойно жить и развиваться во все стороны свое государство.

Я впервые из поезда понял, какая она была огромная, эта война, какая отечественная. И теперь мы едем в лагерь, и на откосе стоит самая длинная немецкая пушка, она будто сползает на нас и целится черным дулом, а нам не страшно.

— Пушка, видали пушку! — кричим мы, отталкиваем друг друга от окна и смеемся — нам смешно.

ГЛАВА 11. НОВЕНЬКИЙ



Потом оказалось, что все в нашем вагоне знают друг друга, как зовут и другие приметы, а я один никому неизвестный новенький и сам тоже никого не знаю. Новенькие, я замечал, что бы ни делали, все получается очень глупо; они могут петь вместе со всеми, притворяться, будто кто-то их знает, или, наоборот, не петь, могут изображать презрение, смотреть в окно, читать книгу — все будет одно глупее другого. Некоторые это понимают и сразу

лезут драться. Другие достают из кармана какую-нибудь увлекательную вещь, например шариковый подшипник, и крутят его на пальце, ждут, чтобы к ним сами подошли и напросились. Еще я знал одного чудака, который, как вошел во двор, сразу начал со всеми по порядку знакомиться (Толик Семилетов — пожалуйста). Так что я не очень переживал: новенький — так новенький, глупо — так глупо. Непонятно только, когда они все успели так перезнакомиться. Знали друг друга насквозь.

— Харитон, — кричали, например, из угла. — Иди с нами в города играть.

— Не пойду, — кричал тот, кто оказывался Харитоном. — У вас атлас, вы по атласу живите!

— Девочки, девочки Крюковы, а почему это вы не поете?

— А потому, что ты, Боярская, очень хитрая, мы с тобой петь не будем!

— Регина Петровна, Волков еще хуже хулиганит, еще хуже, чем обычно.

— Волков, иди сюда, не прячься!

— И Семечкин хулиганит!

— И Котька Деревянко!

— И Антонов!

— И Горбачев, — закричал я неожиданно. — И Горбачев хулиганит.

И чего это меня дернуло? Все замолчали и начали оглядываться, — конечно, никто не знал, кто такой этот неизвестный.

— Кто меня звал? — спросил я тихо под стук колес. — Это я и есть Горбачев.

Меня рассматривали в тишине, как покойника, выглядывали друг из-за друга, кто-то пощупал пальцами мою рубашку. Вот клянусь, в следующий раз, если увижу где новенького, подойду к нему и скажу: «Слушай, плюнь ты на них на всех. Меня зовут Боря Горбачев, хочешь?» А то это такое жуткое одиночество, совсем не то, что на песчаной горе рядом с экскаватором.

— Никто не звал тебя, — приветливо сказала Регина Петровна. — Тебе послышалось.

— Но я и есть Горбачев, — сказал я настойчиво, пробираясь к ней поближе. — Это можно легко доказать.

— Знаю-знаю, ты записан в моих списках.

— А можно посмотреть? — спросил я.

Она показала мне тетрадку, и я увидел там свою фамилию и сразу успокоился. Не где-нибудь в стороне или на обороте, а в самой середине списка, одиннадцатый номер.

— Как интересно, — сказал я.

— Теперь поверил? — спросила она.

— Да, — сказал я и сел рядом с ней.

На меня опять не обращали внимания, но я думал, что все равно теперь им без меня не обойтись — надо же кому-то быть одиннадцатым номером. Не может быть, чтобы шел десятый и сразу за ним двенадцатый. Теперь я мог без всякой зависти слушать их разговоры и запоминать понемногу, как кого зовут, чтобы потом незаметно подружиться.

Девчонки больше всего кричали про Волкова.

— Регина Петровна, — кричали они, — а Волков опять глупости говорит! Волков такое сказал, что Боярская заплакала.

— Волков, явись сюда, Волков, — позвала Регина Петровна. — Что ты ей такое сказал?

Волков явился к ней по проходу, прикрываясь тюбетейкой со смеху. Он смотрел на нее, выставив глаза над краем тюбетейки, и она тоже смотрела на него, и оба они смеялись, еще ничего не сказав, — видимо, не могли уже без смеха смотреть друг на друга.

— Я ничего, — сказал Волков, весь трясясь. — Котька, скажи. Я только сделал вот так и стал просить, как нищий.

Он закатил глаза, протянул вперед тюбетейку и прошелся взад-вперед по проходу, подтягивая ногу руками, как хромым, — мы так и покатались.

— А пусть скажет, что он просил, пусть скажет! — закричали девчонки.

— И скажу! Боярская, сказать?

— Нет! — закричала Боярская. — Ни за что, не смей!

Волков подошел к Регине Петровне и тихо пропел ей в самое ухо (но я-то слышал):

— Потанцуем вечером, потанцуем вечером!

— Бессовестный, бессовестный! — закричали девчонки.

— Совесть, подайте совесть, — забормотал Волков и захромал на них, протягивая вперед тюбетейку. Девчонки разбежались.

— Ну, Волков, ну, перестань, раз им обидно, — упрашивала Регина Петровна, но от смеха никак не могла рассердиться, только хлопала по скамейке рядом с собой.

Волков посмотрел на нее нормальным лицом, потом снова скривился и начал кланяться на все стороны и благодарить.

— Спасибо, граждане, век вас не забуду, спасибо. А сейчас будет исполнена песня.

И он запел:

Эх, мчится-мчится, эх, скорый поезд
по сто семнадцатой, эх, версте,
а кочегару, эх, молодому
кричит кондуктор, эх, на мосте...

И вдруг перестал. И ушел один к окну. Я смотрел за ним все время, боялся пропустить что-нибудь интересное, но он не шевелился и молчал в самое стекло. Так и не сказал больше ничего и не засмеялся за всю дорогу. Его звали, а он не оглядывался, прижался носом к стеклу, будто он, а не я, был настолько новенький и одинокий.

На нашей станции вместо перрона росла высокая трава, мы отпускали поручни и прыгали в нее сверху вместе с мешками и чемоданчиками. Внизу в траве нас поджидал человек, ростом со статую спортсмена в Таврическом саду, одетый в майку с синим ромбом и перечеркнутой буквой «Д» — «Динамо». Наверняка он был физрук. Он хватал нас по двое и выстраивал парами вдоль вагона.

— Смелей, смелей! — кричал он. — Прыгай. Становись! Пятки вместе, носки врозь. Стройся!

Я нарочно прыгнул перед Волковым, чтобы попасть с ним в одну пару, но он застрял в дверях вагона, кинул на землю мешок и опять начал чего-то изображать, — сделал вид, что будет нырять, как купальщик.

— Что ты задумал?! — закричал физрук и стащил его с подножки.

— Там утопленник! — кричал Волков, вырываясь и показывая на меня. — Спасите его, его надо спасти!

— Ладно-ладно, кончай свои шутки, — сказал физрук и поставил нас в одну пару.

— Земля! Мы спасены, — зашептал Волков, хватая меня за руку. — У тебя есть спички?

— Нет, — сказал я. — Только дома на кухне.

— А карта у тебя? Не подмокла?

— Какая карта?

— Брось прикидываться дурачком. Со мною шутки плохи.

— Да не было у меня никакой карты.
— Ты что? Забыл, что стало с одноногим шкипером?
— С одноногим?
— Ну да.
— Шкипером?
— А, чего с тобой говорить. — махнул он рукой и от-
вернулся.

Он был великий мастер отворачиваться.

Где-то впереди застучали в барабан, и мы пошли по песку мимо садов и заборов. Сады свешивались далеко на улицу, а впереди несли знамя. Знамя задевало за ветки и наклонялось назад, и ветки потом еще долго раскачивались над нами и толкали друг друга без ветра. Я поглядывал на Волкова, но он на меня не смотрел, а все вперед и вперед. И насвистывал что-то, и перепрыгивал, и подбирал что-то с земли, хоть там ничего не было. Мы уже прошли последний дом станции, вышли на шоссе, на булыжники, а он все молчал.

— Слушай, — сказал я наконец, — если хочешь, я поищу эту карту.

— Чего? — спросил он.

— Я не хочу, чтобы со мной было, как с одноногим шкипером.

— Да ну, — сказал он. — Я уже забыл.

Видно было, что ему со мной скука смертная.

— Тогда представь еще кого-нибудь, — попросил я. — Самого смешного.

Он ничего не ответил, он посмотрел на меня прямо-таки с презрением. А что я такого сказал? Просто мучение с ним было, не угадать, что ему понравится, а что нет. Хоть иди и молчи всю дорогу.

Теперь мы шли по краю поля рядом с березами. Березы были очень гладкие, будто забинтованные, и под одной стояла Регина Петровна и спрашивала:

— Не устали? Не захромали? Может, отдохнем?

Но никто не сознавался, что устал.

Волков вдруг начал оглядываться и делать знаки. Сзади в ответ прилетели две шишки, и тогда он закивал, повернулся ко мне и зашептал:

— Меняться давай? Ты туда, а Котька сюда. По команде — бенз. Тебе ж все равно, а нам нет: мы друзья.

Я хотел ему сказать, что мне тоже не все равно, что я хочу с ним и чтобы тоже друзья — что он, не видит, что ли? Но

он и не смотрел на меня. Он замахал рукой, и Котька выбежал из своей пары. Теперь мы шли рядом втроем — я, Волков и Котька.

— Ну что же ты?! — зашептал Волков. — Отваливай!

— Я не уйду, — сказал я.

— Деревяно, — позвала Регина Петровна, — иди строем!

— Сейчас, сейчас, — ответил Волков. — Отвалишь ты или нет?

— Не отвалю, — сказал я. — Назло не отвалю.

— Деревяно!

— Ну, я пошел, — сказал Котька и повернулся назад.

«Что я наделал, — подумал я. — Что я наделал!»

Я боялся посмотреть на Волкова. Он был ниже меня и совсем не сильный на вид, но я его боялся. Впереди затрубила труба, мы вышли из-за берез и увидели за рекой флаги над лагерем, и тут он сказал очень спокойно и будто бы не про меня:

— Сначала я не думал, что ты такой.

И больше ничего. Потом мы вошли в лагерь.

ГЛАВА 12. ЛЕС



Лес, лес, лес! Никогда я еще не видел такого леса. Из него можно было бы вырезать тысячу Таврических садов; каждому городскому школьнику достался бы огромный сад со своим входом и выходом; и сколько же друзей поместилось бы в гости в таком саду, — я думаю, целая школа народу, не меньше. Мы шли по лесной дороге, шли медленно, зажатые высокими возами с соломой, и эти возы ползли спереди и сзади, как поршни в туннеле, а мы все глядели по сторонам и рвались убежать через просветы в деревьях.

Кругом был лес муравьев, потом начался лес птиц. Муравьи смотрели на нас из муравейников своего леса, бегали по деревьям, по листьям, падали на дорогу, чтобы нас укунить, но в общем-то относились к нам равнодушно, только как к еде. Зато птицы подняли такой крик, будто мы пришли

и сразу исковеркали им всю жизнь: они пищали, каркали, гыкали, трясли над нами ветки, залетали между рядами, а мы подпрыгивали за ними и передразнивали, махая руками. Вozy ползли из солнца в тень и снова на солнце, соломинны высыпались из них по одной, падали нам под ноги и повисали на ветках и сверкали там, как елочные украшения; и вот, наконец, слева открылась свободная дорожка, мы свернули на нее и бросились врассыпную — будто занимать места, будто в таком лесу могло чего-то не хватить.

Регина Петровна громко звала нас назад — успокоиться и поговорить, — но мы не могли успокоиться и не хотели говорить. Нам надо было что-то поскорее сделать со всеми этими соснами и березами, мхами и лишайниками, с грибами, травой, с болотами, кочками, клюквами, с паутиной, натянутой, как мишень; с пеньком, облипшим смолой и опилками; с кустами черники, похожими на маленькие яблони с синими яблоками, — но что, что с этим нужно делать?

Я выскочил на какую-то поляну, посыпанную желтыми цветочками, и увидел на ее краю один большой и красный.

— Эй! — закричал я. — Сюда смотрите, сюда!

Но никто не прибежал на мой крик, каждый сам кричал: «Смотрите, смотрите!» Я мучился с этим цветком в одиночку, я приседал и заглядывал на него снизу, я трогал его пальцем, наклонял к земле, а он снова распрямлялся наверх, я нюхал его, я дул на него, как его собственный отдельный ветер, но все это было не то. Может быть, мне было бы легче, если б я знал его название, но я не знал его названия. Тогда я сорвал его и понес кому-нибудь дарить, но мне жалко было его дарить.

Потом я незаметно оборвал на нем все листья.

Потом стебелек.

Потом забрал в рот и пососал.

Потом оторвал один лепесток и осторожно покусал его зубами. Потом все остальные.

Потом съел то, что у меня осталось.

После этого я лег спиной в траву, раскинул руки и лежал там, как самый пьяный человек; голова у меня болела и кружилась, во рту было горько, и я не помнил, откуда я сюда свалился, что на мне надето и из какого я отряда, не соображал, что мне делать дальше и нужно ли вообще что-нибудь делать — или только лежать так и смотреть не отрываясь на лесное небо.

ГЛАВА 13. ВОЛКОВ



В лесу было очень хорошо и каждый день по-новому, но в перерывах мы все же выходили из леса в лагерь, чтобы поесть или позаниматься спортом под командой Коминтерна Сергеевича, нашего физрука. Он становился на краю стадиона и кричал в синий рупор: «Прыгуны, сюда!». И все прыгуны сбегались к нему с разных концов леса и прыгали один за другим все выше и выше, а потом все ниже и ниже; и когда они уже ничего не могли перепрыгнуть, он прогонял их обратно в лес и вызывал, например, бегунов, и бегуны бежали у него по прямой дороге-туннелю, увешанному соломой, все быстрее и быстрее, а потом все медленнее и медленнее, если смотреть по секундомеру, и так было со всеми. Я был записан в секцию футболистов, во вратари, и Коминтерн Сергеевич с первого удара подтвердил, что у меня, безусловно, инстинкт и что он из меня душу вынет, мне это так даром не пройдет. Он гонял нас по стадиону до потери сознания, и каждая тренировка кончалась тем, что, упав на мяч, я вдруг чувствовал, что не могу уже подняться, и просил кого-нибудь знакомого выкатить меня подальше из ворот, чтобы дать место следующему.

А знакомых у меня теперь был полный лагерь: куда ни повернись, всюду они мелькали. Уже на второй день после приезда, с утра, я перестал быть новеньким и знал всех в нашем отряде, и меня тоже многие знали и запросто звали Горбачем. Мы сидели в столовой за пустыми еще столами без завтрака и от нечего делать кричали друг другу:

— Антонов!

— Чего тебе?

— Ха-ха. Ничего. Проверка слуха.

И меня тоже кто-нибудь звал:

— Горбачев! — и я с удовольствием отвечал «чего?», хотя заранее был уверен, что тоже ничего серьезного, — такая же проверка. Сначала мне это очень нравилось, но быстро надоело. В общем-то, явная глупость. Я начал незаметно оглядываться, искать, где Волков, и интересно, злится он еще на меня или забыл. Они с Котькой сидели на первом столе,

кашу им уже принесли, и они кормили друг друга с закрытыми глазами.

Нет, лучше бы они сразу опрокинули на голову всю тарелку!

Невозможно было смотреть, как каша течет у них по щекам и подбородкам, а они все тычут друг друга ложками в нос, глаза, в шею — весь их стол колотился головами и плакал от смеха, пока Регина Петровна не прогнала обоих умываться. На Волкова умывание никогда не действовало, он его ничуть не боялся. Его посадили за отдельный стол, и он сидел, вроде бы тихий, наказанный, и смиренно ел из новой тарелки, но только Регина Петровна отворачивалась, он доставал зеркальце и начинал пудриться. Он макал в солонку скомканный платок, потом дул на него и хлопал себя по лицу, заглядывал в зеркало, закатывал глаза, надувал щеки, — мы уже не могли, мы визжали и зажимали друг другу рты, а Регина Петровна оглядывалась и ничего не могла понять. Наконец двое поперхнувшихся встали со своих мест и, красные и согнутые, ушли кашлять в лазарет, только показали Волкову кулак по дороге. Регина Петровна убежала за ними, потом вернулась и сказала:

— Волков, Волков, ну что мне с тобой делать? Поставь себя на мое место.

Волков вздохнул и покачал головой, будто хотел сказать, что он, конечно, виноват и готов на всякие мучения, лишь бы не становиться на ее место.

— Иди в палату. Ты останешься без купанья, — сказала Регина Петровна и отвернулась от него.

Волков встал, забросил себе на голову тюбетейку и ушел. Он никогда не спорил и не кричал, как другие: «А что я сделал?», «А докажите, что я!», «А вы видели?» — сразу соглашался и шел, куда велели, даже если и правда не он.

Но такого никогда не бывало, почти всегда был он или из-за него. Он без конца чего-нибудь выдумывал и изображал, но даже если он говорил серьезно, все по привычке показывались, так что серьезно он мог говорить только с Котькой Деревянко: Котька был совершенно несмеющийся человек и засматривался на всех не хуже Толика Семилетова. Регина Петровна, если хотела Волкова страшно наказать, то рассказывала его с Котькой, и он этого очень боялся; но однажды она придумала наказание еще страшнее, и за сущие пустяки — за вопрос.

Была лекция у костра о международном положении Бразилии, и когда лектор кончил, он долго умолял всех задать ему какой-нибудь вопросик.

— Неужели я так понятно все рассказываю? — говорил он. — Разве вам все уже ясно? Нет, не может быть, чтобы ни у кого не было каких-нибудь сомнений или вопросов.

Но все молчали, только Котька Деревянко тихо сказал:

— Вопросов нет, одни ответы.

Наконец Волков поднял руку, и лектор ужасно обрадовался:

— Ну-ну, давай, мальчик! Не стесняйся.

— А я и не стесняюсь, — сказал Волков. — Вот вы здесь в одном месте сказали «стереть с лица земли». Хотелось бы узнать поподробнее про это. То есть про лицо земли. Что это такое, и где оно находится.

Тут мы, конечно, покатались. Может, и ничего смешного, но мы уже просто не могли слушать его без смеха, а лектор обиделся; и вот за такую ерунду, за вопрос, на следующий день Волкова услали в детский сад. Мол, еще не дорос до пионерского лагеря, пусть поучится вести себя у детсадников.

Это нужно было додуматься до такой жестокости!

— Да он не дойдет до сада, — сказал Коминтерн Сергеевич. — Вон сейчас свернет за угол и убежит. А потом наврет.

— Нет, вы не знаете, — сказала Регина Петровна. — Это исключительный мальчик, с настоящим чувством собственного достоинства. Я голову даю на отсечение, что он не убежит.

— Да знаю я его. Как бы и правда в скором времени не исключили, такого исключительного.

— Нет, я не позволю, — сказала Регина Петровна. — Только через мой труп.

Вот всегда они так — «исключительный, через мой труп», а сами что делают? Волкова, моего Волкова засадить в детский сад! Правда, он был никакой не мой и даже не хотел идти со мной плечом к плечу, но я подумал, что теперь как раз самое время забыть об этом, и если я побегу к нему и попробую как-нибудь выручить, спасти из плена, мы убежим на целый день вместе в лес и там, хочешь не хочешь, навсегда помиримся.

Детский сад был на самом краю деревни, он, видимо, строился нарочно для побегов — спиной к лесу.

Я прополз через бузину к забору и начал высматривать.

Сразу за забором стоял ящик, и на нем, вытянув голову, лежала кошка, черная и толстая, как тюлень. Она мигнула мне одним глазом, но ничего. Дальше шли клумбочки, дорожки, потом гора песку, и под этой горой копошились все детсадовики в белых колпаках — рыли подкоп для Волкова, так я подумал сначала. Волков сидел в стороне на корточках перед одним очень зареванным и разговаривал с ним серьезно, как никогда ни с кем.

— Ну, Миша, — говорил он. — И что же ты, Миша, не плачешь? Стоишь на земле и не плачешь? Это на тебя не похоже. Разве тебе не больно? И дышать тебе не больно? Как же так? А смотреть? Тоже не больно? Просто удивительно.

И не скучно ему было с ними возиться. Потом прибежала еще какая-то липипутка и начала совать ему под нос зажатый кулачок и строить гримасы.

— Ага, — сказал он. — Ты поймала медвежонка. Или воробья?

— Нет, — сказала она и разжала пальцы. — Не воробья.

— Ого, какой мотылек! Очень странный, я таких никогда не видел. Должно быть, он еще не известен науке, а? Наверно, ты первая поймала такого мотылька.

— Нет, — снова сказала липипутка, но было видно, что ей бы до смерти хотелось. Я глядел на Волкова и ничего не понимал. Или он притворяется, или ему и правда было так весело и интересно.

— Волков, — позвал я. — Эй, Волков!

Он увидел меня и пошел к забору, улыбаясь, будто мы с ним и не ссорились никогда. Он, по-моему, никогда не помнил, с кем он ссорился, а с кем нет.

— Видал? — сказал он и кивнул назад. — Искатели кла- да. Ищут наперегонки мою тапку, которую я зарыл. Умора.

Детсадовики пыхтели и зарывались все глубже каждый в свою пещеру.

— Брось ты эти глупости, — сказал я. — Бежим, пока никого нет.

— Куда?

— Как «куда»? В лес, на речку, на станцию — куда хочешь.

— Видишь ли... я, пожалуй, никуда сейчас не хочу.

— Нет, хочешь. Не можешь ты не хотеть. Хочешь и боишься.

— Ты так думаешь?

— Да-да, боишься. Достоинства своего жалеешь.

— Какого еще достоинства?

— Своего собственного. Я все знаю.

— Слушай, а ведь я тебя сюда не звал.

Это верно, он никуда ни разу не позвал меня.

— Ладно, Волков; ну, я тебя прошу: давай убежим, пока не поздно.

— С тобой? — спросил он и сразу же отвернулся. И я увидел, что он в самом деле не хочет никуда убегать, особенно со мной, что ему без меня было гораздо лучше. Вот он смотрит в сторону на кошку, скучает и только ждет, чтобы я ушел.

— Я ухожу, — сказал я. — Ты еще пожалеешь.

— Нет, — сказал он. — Наверяд ли.

— Я всем расскажу, чем ты тут занимаешься.

Он повернулся и пошел к горе. Ему наплевать было, что о нем станут говорить, — наверно, это и называлось «достоинством». Действительно, на ноге у него мелькала только одна тапка.

— Испугался, — крикнул я ему в спину. — Струсил! Я тебя презираю.

Но это уже было чистое вранье.

ГЛАВА 14. СНАРЯД



Я никогда бы не смог презирать Волкова, что бы он там ни сделал, как бы ни поступил. Я не мог ни разозлиться на него, ни обидеться как следует и мечтал только об одном: чтоб он наконец принял меня, пустил куда-то, куда и Котку Деревянко, а меня все нет и нет. Но как он мог принять? Он же не записывал ни в какие списки, не распоряжался куда-нибудь впустить или выпустить, я даже не мог бы к нему попроситься, если бы решился по-честному. «Чего тебе?» — спросил бы он. И правда, чего мне от него надо? Были бы мы в ссоре, тогда проще всего предложить помириться, но он же со мной говорил, и играл, и ходил повсюду, даже как я его спасал в детском саду, вроде забыл, но все равно я чувствовал по разным мелочам, что он меня куда-то не принимает. То он пе-

реставал говорить с Котькой, если я подходил; или мог долго слушать меня, мои лучшие рассказы, которые всем нравились, смотреть мне в лицо и потом потрясти головой и сказать:

— Извини, я тут задумался и ничего не слышал. Ты расскажешь в другой раз, хорошо?

Или сам начинал мне что-нибудь сочинять, потом вдруг спохватывался и говорил:

— А, ладно. Давай лучше в ножнички.

Будто он не предвидел от меня никакого интереса, будто знал заранее все, чего от меня можно ожидать. И я каждый вечер, лежа в кровати, смотрел в темный потолок и думал, что бы мне такое выкинуть или сказать, чтобы доказать ему, наконец, чтобы он увидел, и понял, и оценил меня, но не мог придумать ничего, кроме разных мелких хулиганств, вроде разрисовать кого-нибудь во сне зубной пастой или закинуть на крышу чьи-то трусики — он этому никогда не смеялся.

Потом я уже дошел до того, что начал за ним следить. Я делал это без всякой цели, часто даже не хотел, но невольно высматривал, где он сейчас, и что делает, и нельзя ли к нему будто случайно подойти и сделать что-нибудь вместе. Но даже если вместе было нельзя, я все равно продолжал незаметно следить за ним: мне все про него было интересно, что бы он ни делал. Вот утро, все бегут к умывальникам, и он бежит босиком в толпе, тянет сам себя за шею полотенцем и тут же сам от себя упирается. Или сидит один за столовой, думает о чем-то на бидонах из-под молока, где у него было место для одиночества, — подложил под себя тюбетейку, и никто-никто ему не нужен. Или идет по лесу с Регинной Петровной, и она ему что-то серьезно объясняет, а он говорит:

— Вы так думаете?

— Да, — отвечает она, — я думаю именно так.

— И я, — говорит он. — Я тоже буду теперь так думать. Вы меня убедили.

А у меня он никогда не спрашивал, что я думаю и чего хочу, ему это с самого начала было безразлично.

Однажды я выследил его в лесу на вырубленной поляне. Он стоял, задрав голову, среди пеньков, подбрасывая черничины по одной и ловил их ртом, клацал на лету зубами. Потом начал ловить ухом. Потом что-то услышал и пошел в сторону шоссе. Я незаметно пошел за ним. По пути он все трогал, что было в лесу, вырывал травинки, наматывал их

на палец и пытался согнуть, но замотанный палец не сгибался. Теперь и я слышал явно не лесной шум и крики. Мы подошли к шоссе и в просвете увидели небольшую толпу чудиков из младшего отряда. Они окружили какое-то место на булыжниках, топтали его ногами и колотили палками. Их расталкивал один с забинтованным горлом и кричал:

— Камнем трахну! Камнем! Пустите, дайте я его камнем!

— Эй, кого вы там? — спросил Волков, подходя к ним на цыпочках и заглядывая с вытянутой шеей.

— Да снаряд нашли, — ответил забинтованный и снова полез в середину.

— Стой! — закричал Волков. — Вы что?! Прочь, говорю! Дикари! Самоубийцы малолетние! Долой!

Он принялся их растаскивать, но они не поддавались, упирались изо всех сил и продолжали колотить. Они были хоть и маленькие, но уже очень нахальные и решительные; если толпой, то никому не подчинялись. Волков протиснулся между ними и подхватил снаряд на руки, но они вцепились в него, ломали ему пальцы, кричали и плакали, чтоб он отдал.

— Не ты нашел! Не ты нашел! — кричали они.

Тогда он вырвался и бросился бежать. Я тоже выскочил на шоссе и побежал за ними, а чудики прямо озверели, и я отцеплял их от Волкова, ставил подножки, расшвыривал, делал с ними все, чего нельзя делать с маленькими. Нам в спину стучались палки и шишки, неслись крики погони: «Не ты нашел! Не ты нашел!» — а мы мчались по булыжникам, потом свернули в незнакомый лес, выбежали на луг с крохотными коровами вдалеке, и тут Волков вдруг оглянулся и закричал на меня:

— Стой там! Не подходи.

И сам тоже остановился.

Мы стояли теперь шагах в тридцати друг от друга, облизывались, вытирали пот и громко дышали.

— Ты что? — крикнул я. — Брось его сейчас же.

Он замотал головой и ничего не ответил. Он прижимал снаряд как полено, а рубашка его была вся в раздавленной чернилке и с оторванным карманом. Я видел, что ему теперь страшно пошевелиться. Лицо у него тряслось, точь-в-точь как у мальчишки со змеей в том фильме.

— Волков, ну чего ты, Волков? — позвал я. — По нему же палками колотили.

Он что-то сказал, но я не расслышал.

— Чего?

— Не кричи так, — повторил Волков. — Там все теперь на волоске. Уходи, пока не поздно.

— Я не уйду. Без тебя я не уйду, слышишь? Идем вместе.

Он снова замотал головой и глотнул, но ничего не смог выговорить. Снаряд был ржавый и с острым носом, и я представил себе, как раздастся взрыв, потом эхо от взрыва, и снова станет тихо-тихо; ничего кругом не изменится, ни в лесу, ни в поле с коровами; ни в лагере, а нас уже не будет. Это было не страшно, но очень удивительно.

— Скажи Боярской, пусть она не думает! — крикнул Волков. — Я не нарочно.

— Волков! — завопил я. — Кончай, Волков! Кинь его в сторону и уподи. Прошу тебя. Или положи — и быстро уйдем, он не успеет.

— Беги скорей, — сказал Волков, — он уже тикает.

И тогда я повернулся и с криками «На помощь! На помощь!» бросился обратно в лес.

И вот мы стоим за деревом, я и Регина Петровна, и смотрим в поле, где виднеется одинокий Волков в тубетейке и со снарядом в руках, а к нему от нас быстро идет Коминтерн Сергеевич и на ходу подбадривает его какими-то возгласами и командами, вроде: «Смирно, держись, пятки вместе, носки врозь, не бойся». Регина Петровна в отчаянии кусает себе бусы и пальцы, а свободной рукой прижимает меня к дереву, будто хочет спасти хотя бы меня. Я смотрю из-под ее руки и вижу, как они встречаются там, вдалеке, и Коминтерн Сергеевич осторожно отнимает у Волкова снаряд. «Уходи», — показывает он ему в нашу сторону. Волков идет к нам. Регина Петровна выбегает ему навстречу, тащит в лес, в укрытие, и тут накидывается дергать его и обнимать, вытирать лицо, заглядывает в глаза, в рот, в уши — не верит, что Волков цел, что все у него на месте. Незаметно подходит Коминтерн Сергеевич. Он подкидывает в руках снаряд и успокаивает нас издали.

— Не бойтесь, не бойтесь, — говорит он. — Из него взрывчатка давно уже вынута. Одна оболочка осталась — чистый металл.

Тут на меня от радости и облегчения нападает дикий смех. Я хохочу, прыгаю перед Волковым, кривляюсь и кричу:

— Ха-ха, тикает! На волоске! Передай Боярской, что сейчас взорвется! Кто же там тикал? А? У-ха-ха-ха, помираю!

И тогда Волков закрывает лицо руками и бежит в лес, а Регина Петровна за ним, а я смотрю им вслед, и мне все еще кажется, что все обошлось и ничего страшного не случилось.

ГЛАВА 15. НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ



На следующий день Волкова благодарили перед всем лагерем и всячески восхваляли за смелость и спасение малолетних чудиков от снаряда. Регина Петровна наградила его книгой «Дети героев», но он почему-то не хотел брать, отталкивал и пытался несколько раз убежать, и его каждый раз вовремя ловили и ставили на место перед строем. Коминтерн Сергеевич сказал потом, что напишет о нем стихи в газету.

Зато со мной все было кончено. Каждый раз теперь, как я появлялся поблизости, Волков отворачивался, замолкал или открыто уходил подальше — так я был ему, наверно, ненавистен за то, что смеялся тогда от радости, а он думал, что над ним. Он довел меня до того, что я уже сам старался не показываться ему на глаза, пусть живет спокойно и не нервничает из-за своего тонкого достоинства, а у меня тоже есть свое не хуже. Я решил, что ни за что не стану к нему больше набиваться и не подойду, а буду жить в стороне своей спортивной жизнью.

Мы теперь тренировались каждый день очень много, развивая силу и глазомер, и я уже почти не уставал, только по утрам мускулы на руках и ногах болели под одеялом. Мой инстинкт работал безотказно, папа был бы очень доволен. Я мог поймать любой мяч, который пролетал мимо меня по земле или навесом, даже у самой штанги. Только под ноги я боялся падать за ним, боялся доставать из свалки, пока Коминтерн Сергеевич не научил меня, как это делается; надо падать между мячом и ботинками нападающих, а смотреть только на мяч и в последний момент поворачиваться спиной вперед, тогда ничуть не страшно. Мне так понравился этот прием, что я на тренировках принялся бегать по всему полю

и где попало кидался ребятам под ноги, а они падали через меня, а Коминтерн Сергеевич успокаивал их и говорил, что «ничего, ничего, так и надо, пусть потренируется». У нас в команде были отличные ребята, знаменитые футболисты, Шурик Романов, например. Он был очень коварный, всегда целился в правый угол, а потом вдруг поворачивался и бил в левый. Так что я уже заранее бросался наоборот. Мои ворота были сделаны из жердей и тряслись от его ударов, а с верхней штанги отлетали на меня кусочки коры, и она еще долго качалась каждый раз, поднималась вверх-вниз, как струна.

Потом наступил последний день и праздник закрытия лагеря. После обеда со знаменем и барабаном к нам в гости пришел вражеский лагерь текстильщиков. У них было все точно такое же, как у нас, — знамя, барабан и галстуки, и все-таки они были совсем другие, не наши. Когда мы уселись вокруг стадиона, они с одной стороны, а мы напротив, и я оглянулся на своих, все они вдруг показались мне незабвенными друзьями; даже самые противные, которых я раньше не выносил, выглядели теперь гораздо лучше и нравились мне, потому что они были наши. А когда начались соревнования в прыжках и беге и я увидел, что по дорожке бежит текстищик и его изо всех сил обгоняет сам Волков, у меня зашипало в глазах, такой он был наш, и я мог незаметно кричать и надирать со всеми:

— Волков, давай!

— Дава-а-ай, Волков!

И от наших криков Волков так рванулся вперед на последних метрах, что голова его не успела, откинувшись, отставая за спину, ноги замелькали — и он налетел на ленточку, вырвал ее у державших и с разгона убежал далеко в лес с ленточкой на груди, так что никто не мог его поймать, и пришлось натягивать новую, другого цвета.

А потом был футбол, и я был наш вратарь. Какое это счастье быть и а ш и м вратарем, а не их, как я жалел их вратаря — несчастного текстищика в белой кепочке. Шурик Романов сразу же забил ему коварный гол в правый угол, и пошло, и пошло! Только первый раз мне было немного страшновато, когда они бежали на меня втроем, чужие и неизвестные, стучали ботинками, и нужно было бросаться им под ноги, а уж потом ничуть. Они все трое перелетели через меня вверх тормашками, — видно, не ожидали никак такой паглости. А я вскочил, выбил мяч далеко вперед, и там Шурик Ро-

манов вколотил им второй гол — для него это были сущие пустяки. Я бегал по всей штрафной площадке, кидался под ноги своим и чужим и потом прогнал защитников в нападение, чтобы не мешали.

Теперь наши забивали им голы всей толпой.

Один раз я все же промахнулся, выпустил мяч из рук, и текстищик побежал, чтобы добить его в мои ворота; это был очень опасный момент, но и тут обошлось. Я успел схватить его руками за майку, хоть это и нельзя, и пошекотал в последний момент, — конечно, он от смеха промазал. Судья назначил мне одиннадцатиметровый за хулиганство, но их текстильный капитан так злился, целился попасть прямо мне в лицо, побольнее, пристально смотрел в глаза и попал ногой по пустому месту — так ему и надо.

Была полная наша победа, разгром врагов; не помню, сколько мы им забили, а я не пропустил ни одного. Девочки прибежали в середину поля, когда кончился матч, и засыпали нас букетами цветов; мы еле держали их двумя руками, шли и не видели, куда идем. За чертой в ауте нас подхватили на руки и начали подбрасывать; мы подлетали, рассыпая цветы, снова падали, снова подлетали; а я все смотрел вниз, искал глазами Волкова, но все лица были одинаковые, поднятые вверх, и я никого не узнавал. Может, его там и не было. Я бы отдал всю свою славу и букеты, только бы он один вышел откуда-нибудь ко мне и сказал: «Ну, ты и дал сегодня, Горбачев, ну, ты и дал» — или что-нибудь в этом роде, а я бы ответил: «Да ну, это пустяки, просто они играть не умеют, а вот ты действительно неплохо рванул под конец». Но он так и не подошел ниоткуда.

Только вечером, когда начался прощальный концерт у костра, я увидел его в толпе зрителей впереди себя. Теперь уже не было наших и текстильщиков, все сидели попеременно, вместе смотрели на костер, на небо, куда огонь улетал по кускам, на выступавших, хлопали и смеялись, и невозможно было отличить, какой из двух барабанов наш, а какой — их. Я все ждал, когда будет выступать Волков, но он так и не стал, — наверно, ему скучно было готовиться заранее и репетировать. Он сидел рядом с Боярской и, кажется, выступал для нее одной, а она смела его не слушать, вертелась по сторонам и примеряла какие-то позолоченные короны и звериные маски. Потом еще достала где-то страусовое перо и принялась засовывать его себе в волосы. Это длилось довольно

долго, и мне казалось, что давно бы уже должна начаться голова, но она все не начиналась. Я смотрел на них и не видел ничего смешного из выступлений, не смеялся; мне было непонятно, как он может сидеть не со мной, а с этой Боярской, над которой сам же столько раз измывался. Я уговаривал себя, что и пусть, и не надо мне ничего, ведь меня приняли в нашу команду, и я теперь такой прославленный вратарь, а он пусть сидит где хочет, уже недолго осталось, завтра мы вернемся в город и разведемся навсегда, но только я подумал об этом, и сразу же сами собой потекли мои удивительные внутренние слезы, которые текут у меня, к счастью, не из глаз, как у нормальных людей, а где-то внутри, стекают, соленные, прямо в горло, и их можно потихоньку глотать, так что никто ничего не заметит.

Перед костром пели три обнявшиеся девчонки, их песня называлась «Вальс на сопках Маньчжурии», и все наши-ненаши подпевали им потихоньку тот же самый вальс. Костер ярко светил на лица, на деревья кругом, и было видно, как шевелится от ветра шелуха на сосновых стволах, а выше и дальше начиналась уже неосвещенная темнота. Мне очень нравилось, что поют такой грустный вальс, специально для меня, и обнимаются грустные девчонки, и шумит такой грустный ветер.

«Друг мой, прощай навсегда, навсегда, — думал я на мотив вальса. — Мы не увидимся больше нигде. Ты не хотел подружиться со мной, а я бы тебя не оставил в беде... Ты не хотел подружиться со мной, а я бы тебя не оставил в беде...»

Больше я его не видел, даже на следующий день в поезде он попал, наверное, в другой вагон, и на вокзале была давка, нас встречала толпа родителей, и только когда мы шли уже с мамой к трамваю и мама обнимала меня и восхищалась, как я вырос и поправился, мимо вдруг пробежал Котья Дервянко и с вечной своей деревянковской бессловесностью сунул мне в руки какой-то сверток.

Я развернул его — это была книга «Дети героев».

На первой пустой странице был нарисован взрыв, а сверху карандашом написано: «Боря Горбачев, ты сам знаешь, что эта книга попала ко мне неправильно, возьми ее у меня на память. Твой друг Волков».

— Что с тобой? — спросила мама. — Что это значит? Откуда эта книга, твоя?

— Нет, — сказал я. — Я не могу понять, что это значит.

Наверно, это наша книга — моя и Волкова, — ведь тут ясно написано: «Твой друг Волков». Он сам это написал, — значит, так оно и есть, а все остальное ерунда, все остальное можно не считать. Можно забыть после такой надписи, без сомнения.

ГЛАВА 16. ПЕРЕМЕНЫ



Сколько новостей случилось дома, пока я был в лагере, сколько событий! Они наверняка специально ждали моего отъезда, чтобы случиться назло без меня, я всегда был на них невезучий. Стояло мне где-нибудь зазеваться или посмотреть в сторону, как сразу же за моей спиной что-нибудь случалось, и все кричали: «Смотри скорей, да куда же ты смотришь! Туда гляди! Эх ты, не видел». И теперь я тоже не видел, как пришли в разрушенный дом наши солдаты, как они в два счета достроили его до последнего третьего этажа, как экскаватор прорыл траншею до конца нашей улицы, как ее потом засыпали всем песком из моей горы и как в наш дом привезли новенькие газовые плиты — белые с черной крышкой.

Толик Семилетов никуда не уезжал, он все это видел и рассказывал мне с отличными подробностями, как он умел, а еще он сказал, что Бердя забрали в милицию за музыкальные инструменты и хотели еще забрать Мишку Фортунатова, вместо свидетеля, но родители его не пустили и с перепугу отправили в деревню исправляться, а от чего исправляться — так и не сказали. Потом незадолго до моего приезда приходил Сморгыга, искал меня, как изменника, и запретил всем ребятам с нашего двора ходить в Таврический сад — не то налетит со своей шайкой-бандой и не знаю что сделает.

«Ну ладно, — уговаривал я себя. — Можно ведь прожить и без Таврического сада. Что такое сад по сравнению с лесом, в конце концов? Огороженный кусочек, полно народу и взрослых, цветы не рвать, по газонам не ходить, — кому это интересно».

Уж очень мне не хотелось снова вступать в шайку-банду, даже думать о них было противно. Мы с Толиком ходили в

школу и домой не через сад, а по улице, мимо ограды; это было немного скучно и немного стыдно, но никто не знал, а сами мы никогда не говорили об этом, сворачивали от ворот, не сговариваясь.

Один раз мы все же увидели их в глубине. Это было уже осенью, когда падали листья с кустов и сквозь прутья стали видны все далекие аллеи, скамейки и голубые кноски, и белые точки на крышах — изоляторы с проводами. Сначала я заметил вдалеке красное пальто среди желтых листьев, а потом и девочку внутри него — она сидела на скамейке и читала книгу. Я смотрел только на нее (просто люблю красное на желтом) и не заметил, откуда вдруг появились Сморгыга и Сережа-Вася; они пришли и сели на ту же скамейку, на другой конец. Издалека было не разобрать, что они там сделали или сказали ей, только вдруг она вскочила, шагнула на них, потом закрыла лицо книгой и бросилась бежать прочь, не разбирая дороги, прямо по листьям, через кусты; до самого выхода ее бегущее пальто мелькало среди деревьев. А эти двое остались на скамейке и делали вид, будто они ничего такого, ни в чем не виноваты. Толик тоже все это видел и сказал, что они теперь всегда так: не хулиганят открыто, а исподтишка делают страшные подлости, а потом сидят как ни в чем не бывало. Или натянут вечером тонкую проволоку между деревьев и ждут в стороне, чтобы кто-нибудь упал. Это для них самое большое удовольствие, лучше цирка.

— Если бы их сфотографировать в это время, — сказал он, — и напечатать в газете, тогда бы они узнали. А так ничего с ними не поделаешь.

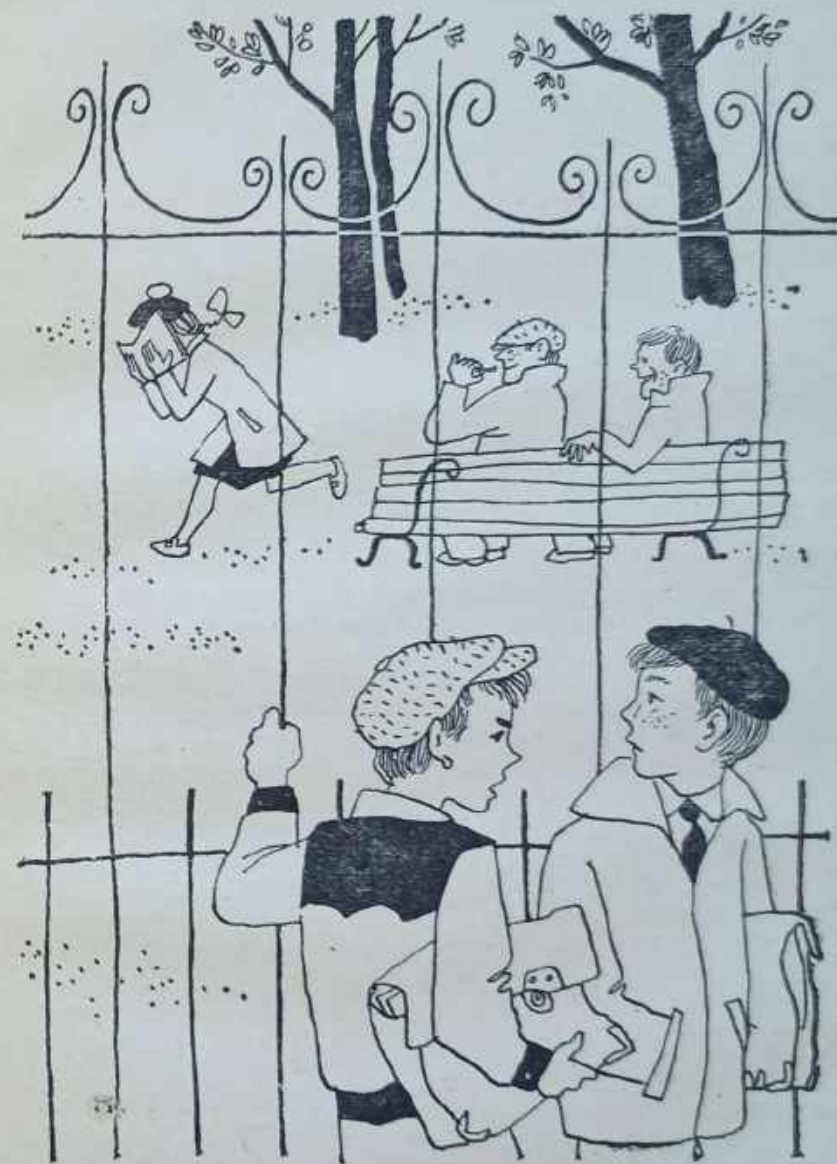
Он теперь увлекался фотографией и считал, что это страшная сила. Я видел его снимки; на них всегда было одно и то же: какие-то люди идут по улице, садятся в автобус, дают друг другу прикурить.

— Кто это такие? — спрашивал я. — А это кто, а это? Родственники твои, что ли?

Но он не знал. Это все были совершенно не знакомые ему люди.

— Зачем же ты их снимаешь? Только пленку зря тратишь. Снял бы лучше Таврический сад или наш дом, чтобы можно было узнать. Ты просто обязан снять наш дом на память.

— Да он ведь и так стоит, никуда не девается. Вышел — и смотри. А эти люди сели в автобус и уехали, и нет их навсегда. И автобуса тоже нет.



— Ну и что?
— А у меня есть, вот видишь?
— Да пусть бы уехали — тебе жалко, что ли?
— Вот именно, что жалко. А тебе неужели нет?
— Нет. Разве что вот этого летчика. Немножко. Он тоже уехал?

— Конечно. Все они уехали. А у меня остались — вот, смотри, сколько хочешь.

Но я уже не спорил — пусть его, раз он такой странный. Тем более что мне очень нравилось смотреть, как он проявляет, сидеть у него в комнате при красном свете, развешивать негативы и думать про что-нибудь вообще, про что-нибудь такое, где даже не обязательно был бы я. Например, про паровоз, про пар, который его, конечно, движет, неважно, веришь ты в это или нет; про Отечественную войну, воронки и бронетанковые снаряды или про людей на негативах: они все были как седые негры в белой одежде и уезжали, уходили, убегали, — действительно, куда они все? С Толиком приятно было помолчать и подумать так в тишине, и никто нам не мешал. Даже его мама не входила в комнату без стука, всегда спрашивала: «Толя, к тебе можно?» И если нельзя, то она слушалась и уходила. Она тоже очень нравилась мне, такая приветливая и не лезла с расспросами.

А дома у нас совершенно некуда было спрятаться, и это надо было терпеть, пока не приедет папа. Он прислал письмо, что вернется насовсем к Новому году, и тогда мы переедем в новую квартиру и будем жить все вместе (я почему-то был уверен, что новую квартиру нам дадут в отстроенном доме напротив). «Папа, приезжай скорей, а то я забыл тебя совсем и не смогу узнать, когда ты войдешь», — так я ему написал.

В общем-то, все они жили теперь довольно дружно, мама, Ксения Сергеевна и Надя, не говоря уже про Катеньку. Обедали все вместе, по очереди готовили и покупали, давали друг другу поносить свои платья и кофты, а Катенька каталась по земле в моем старом пиджаке, который теперь считался ее пальтишком. Однажды она принесла мне в подарок какую-то паршивую гусеницу; я хотел ее тут же выкинуть, потом спохватился и тоже начал врать ребенку, что это, мол, редчайший экземпляр, раньше водился только в Австралии, и — тра-ля-ля! — какой она молодец, что первая нашла ее и поймала. Она была очень довольна, а мне что, мне не жалко.

Но все равно это хуже нет, если нельзя остаться дома одному, когда захочешь (только залезть с головой под одеяло). Особенно если у тебя есть дорогая вещь, которую другим нечего цапать и смотреть, я говорю про книгу, которую подарил мне Волков и которую я, как приехал, спрятал высоко на буфет — больше у меня не было никакого своего места. Но на буфете она пролежала два дня, а на третий дома была повальная уборка, и когда я пришел из школы, то застал страшный разгром, а под потолком увидел Надю: она стояла рядом с буфетом на вершине лестницы-стремянки с мокрой тряпкой в руке и читала мою книгу.

— Нельзя, — закричал я. — Отдайте!

Надя чуть не свалилась от моего крика, быстро спустилась на несколько ступенек пониже и спросила:

— Что ты? Что с тобой?

И действительно, с чего это я? Но книгу все же отдала, и я забежал по комнате в поисках безопасного места.

Из-за уборки и разгрома открылись самые темные и неисследованные углы, я выждал момент, когда все отвернутся, и спрятал завернутую книгу за спинку дивана.

«Туда уж никто не сунет носа», — думал я.

Но в тот же вечер Катенька уже играла с ней на полу, делала из нее домик для резиновой лягушки. А потом, еще через неделю, был случай, когда Ксения Сергеевна ставила на нее чайник.

И тогда я понял, что нет другого спасения, как носить ее все время с собой: и в школу, и в кино, и на экскурсию, и в магазин, если пошлют.

Я носил ее в портфеле, или в сетке, или просто в руке, и скоро все начали приставать ко мне, что это за книга, и зачем я с ней вечно таскаюсь, не хочу ли я показать, что стал очень умный, и нельзя ли дать почитать, но я не давал. А потом и приставать перестали — привыкли. Только однажды я слышал, как двое учителей разговаривали обо мне и один сказал:

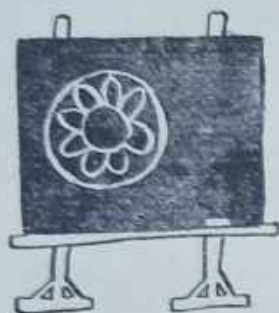
— Боря Горбачев? Это тот мальчик, который всегда с книгой?

— Вот-вот, это именно тот мальчик, — ответил другой.

— Ну как же, я его отлично помню.

Теперь у меня тоже была примета, как у других. Длинный, толстый, рыжий, а я был «тот, который с книгой». По-моему, это ничуть не хуже — во всяком случае, я был не против.

ГЛАВА 17. ФИЗИКИ, ЗА МНОЙ!



Теперь, лежа в гостях у Толика на диване, я часто думал не о себе, не о своих делах и знакомых, и это было ничуть не скучно. Больше всего мне нравилось размышлять о всяких явлениях природы, которые существуют и обходятся вполне без меня и других людей, и никто с ними ничего не может поделать. Я и раньше увлекался такими мыслями, например о дождях, облаках и паре тогда в поезде, но не

знал еще, что все это называется физикой, что это можно будет проходить в школе и потом в институте, и потом, может быть, даже самому открыть чего-нибудь, пускай совсем крохотное, но чего никто до тебя не знал. Наш новый физик Игнатий Филиппович обещал нам совершенно твердо, что каждый, любой из нас, сможет что-нибудь открыть в своей жизни, если только не будет бояться непонятного.

— Непонятное! — восклицал он вдруг посреди урока. — Беспредельный океан непонятного! Не нужно бояться его, не нужно закрывать глаза от страха и делать вид, что его нет, а все уже известно. Смелее! Спускайте на воду корабль своей мысли — и вперед! Вы увидите невиданное и услышите еще никем не слыханное, вас ждет великое счастье открытий; и, как моряки не могут не полюбить море, вы не сможете не полюбить этот океан непонятного, непознанного. Чувствуете ли вы трепет и восхищение перед ним, захватывает ли ваш юный дух его беспредельность?

Я чувствовал трепет и восхищение, и дух у меня тоже захватывало; когда он говорил, никто в классе не мог слушать его равнодушно. На вид он был совсем неинтересный, старенький и невысокий, как раз подходящий для того, чтобы с ним не считаться и делать что хочешь, но это только на вид. Мне бы и в голову не пришло на его уроках болтать, или читать из-под парты, или даже думать про что-нибудь другое, кроме физики: он заставлял слушать себя и смотреть не отрываясь, как в бинокль.

— Вот я рисую круг, — говорил он, — круг человеческих знаний. Они растут, наука стремительно развивается, круг увеличивается, но что же?! Вместе с ним увеличивается и про-

тяженность этой белой линии, этой границы, отделяющей известное от неизвестного, понятное от непонятного, — познание беспредельно! Чем больше мы узнаём, тем больше возникает вопросов. «Зачем же тогда все старания, — спрашивают робкие духом, — зачем отдавать жизнь тому, что не имеет конца?» — «А затем, — отвечают им сильные и смелые, — что в этом непрерывном открывании и состоит наша жизнь, что человек не может иначе». И лучшие, гениальнейшие умы отвоевывают для людей все новые и новые пространства Неведомого — вот так! Вот так! И вот так! — И он бросался пририсовывать со всех сторон к кругу знаний длинные, как у подсолнуха, лепестки, а потом обводил их новым, увеличившимся кругом.

После его рассказов я уже не мог учить физику как обычный школьный предмет; я читал учебник подряд, где задано и где нет, перечитывал, как интересную книгу, и решал незаданные задачи для собственного удовольствия. Если бы меня спросили, я бы мог ответить за несколько уроков вперед, но Игнатий Филиппович никогда не вызывал к доске, — он сам был довольно веселый, и ему скучно было слушать, как мы бубним по учебнику то, что задано. Вместо этого он заставлял нас быстро спорить друг с другом перед всем классом на физические темы, а тем, кто спорить стеснялся, раздавал задачи на листочках, — у него всегда были полные карманы задач.

— Сегодня мы поспорим о законе Архимеда, — говорил он в начале урока. — Что это еще за выталкивающая сила воды? Должно быть, вздор. Я сам два раза тонул, камнем шел на дно, и никакая сила меня не выталкивала. Кто это может подтвердить?

— Я, — вставал кто-нибудь. — Я тоже тонул, как камень.

— Итак, тонет ваш товарищ. Что вы бросите ему, какие из видимых предметов нашего класса, чтобы он мог спастись? Свистунов.

— Парту.

— Хорошо, садись. Березин?

— Доску.

— Неплохо, молодец. Савушкин?

— Двери и окна.

— Но-но, полегче, Горбачев?

— Лампочки.

— О! Интересно.

— Нет, не хочу! — кричал тот, кто тонул. — Я против, я захлебнусь вместе с его лампочками. Зачем они мне?

— Да не бойся ты, они же пустые. Удельный вес!

— А стекло?

— А ты умножь на объем.

— Но там железки?

— Так и эсминец железный.

— У эсминца водоизмещение.

— И у лампочки водоизмещение.

— Ха-ха, у лампочки!

— Да-да, у лампочки!

— Ты что, спятил?

— А тебя что, акула укусила?

— Игнатий Филиппович!

— Спокойно, спокойно, — говорил Игнатий Филиппович. — Сейчас проверим.

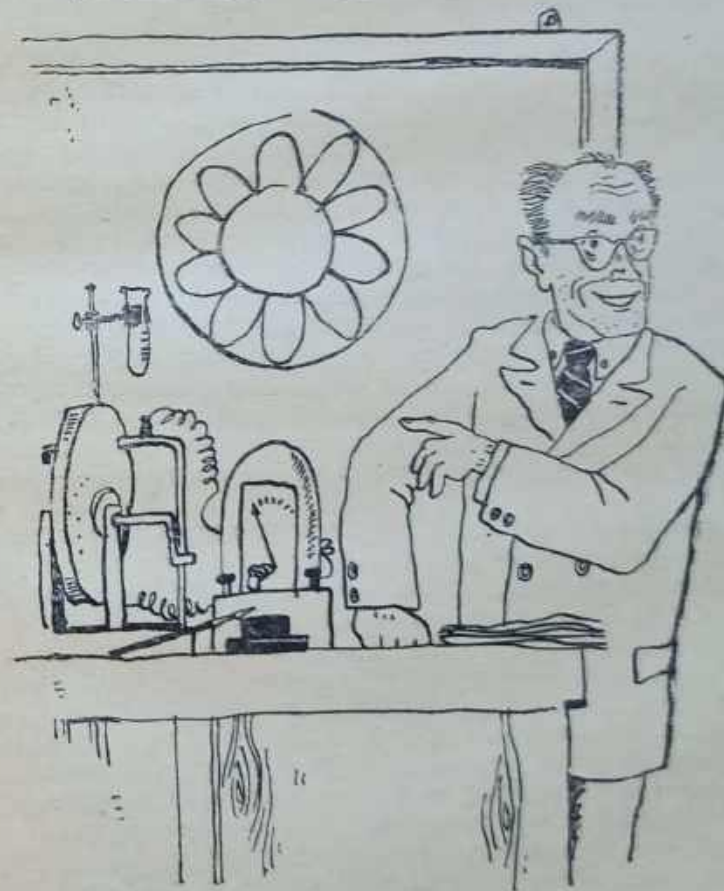
Он доставал широкую мензурку, и мы тут же делали опыт: измеряли водоизмещение лампочки. Вообще опытов он показывал очень много — по несколько десятков на каждый закон: ему они, видимо, доставляли большое удовольствие, но для нас он объяснял так, будто просто нужно во всем сомневаться, никому не верить на слово, даже великим гениям. — мало ли что они могли там наоткрывать.

— Горбачев, — вызывал он меня (он вообще часто меня вызывал). — Ты веришь в атмосферное давление?

— Нет, — отвечал я с восторгом. — Ни за что. Не верю, и все тут.

— И правильно, всегда сомневайся, не склоняй голову перед авторитетом. Давай-ка сейчас вместе разоблачим этого великого итальянца Эванджелисту Торричелли. Что он мог там открыть в своем темном средневековье, какое еще атмосферное давление, которого и не чувствует никто, если даже телефон и автомобиль были ему неизвестны. Бедняга!

И мы принимались разоблачать Эванджелисту, выкачивали воздух из банки с резиновой крышкой, и, конечно же, ничего у нас не выходило: атмосферное давление тотчас показывало всю свою силу, продавливало и выгибало крышку внутри до того, что натянутая резина начинала светиться, и все видели, насколько прав был великий Торричелли, — недаром на него тратил время его учитель Галилей. А после него, после Торричелли, другой физик продолжил дальше: изобрел барометр и научился предсказывать погоду по



атмосферному давлению — Блез Паскаль из Франции. Этот был уже такой гений, что трудно представить, что бы он изобрел в наши дни с телефоном и электричеством в руках, — страшно подумать!

После первой четверти меня приняли в физический кружок, в группу экспериментаторов. Но там были все старшеклассники. Они делали опыты с маятниками или радиоприемниками, а я их еще не понимал, — у меня просто глаза разбегались от непонятности. Я пытался читать их учебники, но пока я дочитывал про то, что они делали, они уже кончали и переходили к следующему, и мне приходилось одному повторять все сначала. Зато какое это было наслаждение, если рассчитать все заранее, например высоту столба ртути трубки № 5, и потом посмотреть, как она там поднимается, ползет, переливаясь, все выше к сосчитанному делению, и даже упрямившись, умолять ее про себя: «Ну, ртуть, ну, миленькая, давай же, давай!» И вот она, наконец, доползает и останавливается точно-точно, — просто чудо какое-то, хотя на самом деле чудо было бы наоборот, если бы она посмела не доползти, нарушила законы природы. Я поражался иногда, откуда эта бессловесная ртуть, каждая ее капелька, да и другие неодушевленные предметы, — откуда они так точно помнят все законы природы и так уверенно выполняют их все сразу: и притяжения, и сообщающихся сосудов, и давления, и капиллярности. Даже человек не может их все узнать и как следует запомнить, а предметам это ничего не стоит, они подчиняются, и им даже не нужно времени, чтобы подумать, — вот какая штука.

Но больше всего мне нравились задачи. Я уже с первого взгляда умел отличить стоящую задачу от пустяковой и откладывал в сторонку, в мозг, ее условие, не пускал себя думать о ней сразу. Я будто забывал о ней совсем, зевал по сторонам, делал вид, что вспоминаю совсем о другом — о лагере, например, — и даже не замечаю, что это у меня тут такое лежит, ждет не дожидается, а сам краем глаза все косил, откуда ее можно вернее подцепить. От нетерпения у меня начиналась какая-то дрожь, и тогда я вдруг накидывался на нее, задавал ей первый вопрос, считал, перечеркивал, снова считал и бился с ней до тех пор, пока она не открывала своего решения. Некоторые задачи раскалывались сразу, стоило только найти к ним верный подход, другие, наоборот, приходилось решать пункт за пунктом, отколупывать, как скорлупу

от грецкого ореха, и я даже не могу сказать, которые из них были лучше. Игнатий Филиппович приносил мне все новые и новые и часто хвалил за трудолюбие, а я не сознавался, что для меня в этом уже нет никакого труда, а одно сплошное удовольствие; что-то я не слышал, чтобы кого-нибудь когда-нибудь в жизни хвалили за удовольствие, поэтому и молчал.

А потом я случайно узнал, что в воскресенье в школе будет олимпиада старшеклассников. Меня никто не звал, но я не мог пропустить такое событие, — там собирались самые сильные ребята со всего района, лучшие умы. Я ходил между ними по коридору, стараясь не толкнуть, и осторожно подслушивал, о чем они говорили между собой, хотя мало чего понимал. Уже по лицам было видно, насколько они умнее меня. Я спросил у одного, самого низенького, из какого он класса, и он ответил с презрением, что вообще-то из восьмого, но ему непонятно, что я хочу сказать своим вопросом, что мне вообще здесь нужно.

— Да не нервничай ты так, — сказал я. — Бывают и пониже тебя, — но поскорее отошел, чтобы не раздражать его в такой момент.

Скоро в коридор вышли студенты из университета, бывшие ученики, и начали по очереди вызывать участников:

— Математики, заходи!

— Химики, за мной!

— Физики, за мной!

Я смотрел, как физики уходят один за другим в актовый зал, говорят свою фамилию студенту у входа и он кивает и отмечает в списке; а в коридоре уже пусто, и я стою у окна один — ковыряю зеленую трещину на стекле. Вот и последний зашел, вот и дверь закрывается, щелкнул язычок — тогда я подбежал к ней и то ли постучал, то ли поскребся тихонько, как узник, но студент услышал. Он высунул голову и спросил:

— Ну?

— Пустите меня, — сказал я. — Я тоже... Можно и мне попробовать?

Он посмотрел на меня с грустью и вышел ко мне в коридор.

— Зачем? — сказал он. — Зачем ты хочешь это сделать? Не входи сюда, ты еще так молод.

— Да вы не думайте, я сумею. Я и за девятый класс однажды решал.

— Ты на качелях. Я прыгаю к тебе на ходу. Быстрее пойдут качели или медленнее?

— Так же. Потому что маятник.

— Верно. Но все равно. Ты не знаешь, что тебя ждет. Посмотри на меня — на кого я стал похож.

Он был похож на одного гребца с плаката, только не веселый.

— Вот видишь. Скажи лучше, что ты больше любишь: лапту, футбол или коньки?

— Но я только попробую. Не решу так не решу.

— А если решишь? Ты можешь решить — вот в чем весь ужас. Нет, нет, иди поиграй еще, побегай, пока не поздно.

— Да я не хочу. Я правда наигрался уже. Мне обязательно нужно сюда; пустите меня, а?

— Безумец, — сказал он задумчиво. — Мне дана власть не пустить тебя силой, но я эту власть не люблю и пользоваться ею не стану, я сделаю вот что — держи.

Он сунул мне в руку исписанный квадратик картона.

— Это задача. Если ты решишь ее, будь по-твоему. Если же нет... Но должен сказать заранее, что ты ее не решишь. Ты можешь, возразить, что так нечестно, что у тебя нет выбора и, значит, я опять применяю силу, но в конце концов все это для твоего же спасения. А теперь входи. — И он впустил меня в зал.

ГЛАВА 18. МОЙ ДОМ



За окном идет снег, из-за него на улице все только белое или черное, один ящик для писем синий. А я сижу на последней парте в чисто вымытом зале и смотрю куда угодно, только не вниз, не на задачу. Студент ходит по проходу, заглядывает в листочки и ничего не говорит, только подмигивает, кивает и делает грустное лицо, — мол, все в порядке, парень, двигай дальше, ты, к сожалению, на верном пути. На меня никакого внимания. И Игнатий Филиппович тоже — будто и не видел, как я вошел.

«Ну ладно же, — думаю я. — Сейчас посмотрим».

Я набираю воздух и взглядываю вниз на квадратик. Что

же это за задача такая? Уж слишком проста на вид. Чего тут решать? На восьмом этаже живет мальчик, у него есть синий мяч, и он уронил его из окна. А ты живешь на четвертом, у тебя есть красный. И спрашивается, в какой момент ты должен его выронить, чтобы оба они, и синий и красный, одновременно стукнулись об землю. Чего же проще? В тот самый момент, когда синий просвистит у меня над ухом. То есть, конечно, я могу не успеть или, наоборот, поторопиться, но это же условность, в задаче так разрешается — условно предположить, что я сумею уронить мяч в мяч.

Я достаю чистый листок и начинаю подсчитывать, как это все получится по формулам. Но по формулам почему-то не получается. Может, я взял не те? Но какие же тогда? Других нет. Закон всемирного тяготения, сила тяжести, Исаак Ньютон — все верно, все на месте, ничего другого здесь и быть не может. А вдруг он был не прав, Исаак Ньютон, вдруг ошибался? Ведь говорил же нам Игнатий Филиппович, чтобы мы как можно больше сомневались, ничему бы не верили на слово; правда, он говорил, чтобы в первую очередь — самим себе: может, это я не прав, а не Ньютон. Я начинаю думать сначала. Мячи летят мимо этажей, стучаются об землю, подскакивают, красный и синий, синий и красный, то один, то другой, то раньше, то позже — падают, подскакивают, падают...

Через парту впереди меня тот низенький, из восьмого класса, вдруг первый встает, оглядывает всех победно и идет к столу. Игнатий Филиппович выходит ему навстречу, смотрит решение и сразу улыбается и кивает, и взглядывает на часы, засекает время.

«А и правда, — думаю я, — сколько уже прошло? Час, наверное, или больше? Часов нет; вот папа придет, тогда...»

И тут же забываю, что «тогда», словно бы перестаю видеть и слышать все кругом, снова мучаюсь с задачей, пробую самые невероятные способы, авось получится; пусть, думаю, падают лучше стаканы, они долетят до земли и мгновенно разобьются, они не будут подпрыгивать назад и сбивать меня с толку, как эти ненавистные мячи. Теперь летят стаканы, они тоже разных цветов, с водой и пустые, бьются об землю, звон отдается у меня в голове, я уже ничего не слышу, кроме этого звона, не слышу, что мне говорят в самое лицо, стоят какие-то надо мной, не пускают решать дальше — да кто же это?

— Слушай, — шепчет студент, — ты не заболел? Чего у тебя глаза так сверкают?

— У вас тоже сверкают, — говорю я.

— Нет, что-то я не то натворил с тобой. Знаешь, тут есть один хитрый ход у этой задачи. Я его тебе скажу, хорошо? А остальное ты все сам, все формулы — это ты все самостоятельно.

— Нет, — шепчу я и затыкаю уши. — Уходите.

Он уходит, а меня начинает трясти то ли от злости, то ли от задачи, которая снова накидывается на меня (не я на нее, а теперь уже она на меня). Снова в голове летят попеременно мячи и стаканы, мелькают этажи. Мячи, уменьшаясь, улетают в стаканы, наполняют их с верхом, как разноцветные клюквы. Это уже совершенная бессмыслица, это не похоже ни на какое сознательное рассуждение, а только на бред, сон и кошмар.

«Ну что мне в ней? Ну, пускай не решил, — пытаюсь я уговорить себя. — Надо бросить ее скорее, выкинуть из своей головы, забыть; наплевать мне на все мячи на свете, как они там летят, как падают...»

Но забыть невозможно, задача сидит во мне намертво и не дает ни о чем другом думать, кроме себя.

Зал уже наполовину пустой, умы встают один за другим и сдают свои листки, а я все сижу и скоро, наверно, останусь один — самый последний.

«Волков, — думаю я почему-то, — ну что же мне делать?»

И Волков появляется в окне восьмого этажа, как видение, протягивает руку с мячом и разжимает пальцы.

Это была чистая случайность — то, что я вообразил, да и какая разница, кто кидает мяч? Законы для всех одинаковы. Но только я представил его там, наверху, как он стоит, а я гляжу на него снизу, и тут у меня в голове мелькнули какие-то слова про него (чтобы вместе, вместе!) — и осенило! Нужно же обогнать его на 1 секунд, нужно раньше кинуть, раньше, чем синий до меня долетит, самому уже набирать скорость, и только тогда они успеют вместе, полетят рядом и одновременно стукнутся о землю, только тогда мой и его, потому что ускорение же, и пройденный путь, и время! Как я мог этого не понимать, сомневаться в силе тяжести?! Я еще боялся радоваться, нужно было скорее проверить по формулам и подсчитать, но все получалось, я уже чувствовал: все

верно, задача раскрывалась передо мной — невероятная и прекрасная Задача, Которую Я Решил.

Кто-то вздохнул за моей спиной с облегчением. Я оглянулся и увидел студента. Он казался обрадованным еще больше меня и теперь уже был точная копия того гребца на плакате.

— Ну, ты пропал, — сказал он восхищенно. — Нет тебе спасения. — И повел меня к столу.

Он что-то говорил обо мне Игнатию Филипповичу, а тот кивал головой и отвечал:

— Да-да, это Горбачев, я же тебе рассказывал. Его нужно взять в ваш клуб «Юный физик». Обязательно.

— Слышишь, Горбачев! Приходи завтра в наш клуб. Это отличное место, уж ты поверь.

— Да меня же не примут, — говорю я, а у самого лица нагревается от счастья, — туда ведь не каждого принимают.

— А ты и есть не каждый, — отвечает студент и давит мне на пальто, и что-то еще говорит, и пишет адрес. — Обязательно, мы тебя ждем.

...Потом я замечаю, что давно иду по снежной улице и сейчас вхожу в Таврический сад. «Но мне же нельзя, — думаю я. — Почему-то мне было нельзя в Таврический сад, но почему же? Что там такое поджидало, чужое и противное, чего я боялся?»

И никак не могу вспомнить.

«Ха-ха, да чего же мне теперь бояться? Мне, который решил задачу. Нет, наверняка какие-нибудь пустяки и глупости по сравнению с падающими мячами».

Я сворачиваю на боковую дорожку и вдруг вижу Сморгу с шайкой. И они меня тоже видят. «Так вот оно что, — вспоминаю я наконец. — Вот куда меня занесло!» Но не бегу еще, жду неизвестно чего. Они тоже пока не двигаются, стоят поперек дорожки и ждут. Я прикидываю на глаз расстояние и вижу, что запросто можно еще убежать, но только почему-то знаю, что мне нельзя. Всегда было можно от них бегать, а теперь вот нельзя. Да что же это такое? Почему? Неужели ждать, пока они перестанут усмехаться и догонят меня? Ничего я не понимаю, но не могу бегать от них — вот и стою.

Тогда Сморга подходит ко мне и говорит:

— Ну, все, попался один.

— Ха-ха, — говорю я вдруг. — Смотрите на него. Посмотрите на этого мальчика, у которого красный лоб.

И сам на себя удивляюсь, откуда у меня такое легкомыслие.

Остальные тоже подходят в темноте, начинают заглядывать ему в лицо — что там такое, или я выдумал.

— Да вы что? Да нет у меня ничего! — кричит Сморяга, но на всякий случай вытирается и рассматривает ладонь. — Вот я ему сейчас свистну по мозгам, тогда узнает, как шутки шутить.

— Ты что, спятил? — говорю я ему строго. — Как это по мозгам? А кто тогда будет решать задачу? Ты, что ли?

— Какую еще задачу? Что ты порешь?

— Ха! Слыхали — задачи не знает. Темное средневековье! А что у меня есть в кармане, тоже не знаешь? — Тут я так быстро сую руку в карман, что он отскакивает. (Такие прямо не переносят, если сунуть руку в карман.) А в кармане у меня, конечно, ерунда — пуговица какая-то и пять копеек. Но я все равно на него наступаю и кричу теперь уже на весь сад: — Ты что, опять за свои подлости взялся?! Думаешь, я тебя не видел тогда на скамейке? Что ты ей сказал тогда, той, в красном пальто? Говори! Опять какую-нибудь подлость, да? Чтобы никто не слышал, да? Но я-то тебя слышал, я тебя насквозь вижу! Смотри, как бы мы тебя не сфотографировали, лучше ты кончай свои подлости по-хорошему!

А он все оглядывается по сторонам и говорит:

— Да тихо ты... Ну чего орешь-то?.. Вот дам сейчас...

А я ему:

— Кто это даст? Это ты-то? Да я из тебя гистерезис сделаю! Я тебя в вакуум засуну! Ты у меня лопнешь изнутри и прилипнешь по стенкам!

Тут к нам подходит какая-то женщина, берет его за плечо и говорит мне:

— Как тебе только не стыдно? И что это ты тут раскричался, герой? Смотри-ка, до чего довел товарища. А ты не бойся, мальчик, не бойся, пока я здесь, он тебе ничего не сделает.

— Да не боюсь я его... да пустите, — говорит Сморяга и вырывается. Но женщина держит крепко и все гонит меня прочь:

— Уходи, уходи отсюда немедленно. Ишь какой хулиган выискался. Больно ты храбрый! Глядите-ка, до чего довел ребенка, — вон у него уже и нога дергается. Беда-то какая!



— Да где? — кричит Смoryга, чуть не плача. — Где вы видите?

И вся шайка подходит к нему и смотрит вниз: — действительно дергается нога или нет.

Тогда я незаметно ухожу от них на всякий случай — мне и смешно и не верится, что я перекричал самого Смoryгу. Я иду дальше через Таврический сад (давно я здесь не был) и думаю: откуда же я вдруг набрал столько храбрости, столько этого, ну... как у Волкова... собственного достоинства, вот.

В саду хорошо, снег лежит на перилах и скамейках, как пирожное, и музыка слышна с катка, и я сначала хочу все поскорее осмотреть, раз уже прорвался, а потом думаю: куда же спешить? Ведь мне и завтра придется сюда прийти, и послезавтра. Конечно, тут будет Смoryга и все его подлости, и сегодня я его перекричал, а завтра неизвестно, да что же делать? Мне ведь теперь убегать от него нельзя, даже если никто не увидит и не узнает, и с этим достоинством своим, которое залезло в меня неизвестно когда и откуда, я еще наплачусь и хлебну горя, но тут уж ничего не поделаешь, — я его ни за что не отдам и буду защищать изо всех сил, и потом, когда мы снова встретимся с Волковым, он посмотрит на меня, сразу все поймет и сам — сам! — подойдет ко мне и попросит, чтобы я его принял в друзья, в физики, или еще куда.

И тогда я подумаю.



взрывы

на

Уроках





РОДЖЕР БЭКОН



Глеб делал зарядку, и мамины букеты на окнах быстро осыпались от его прыжков и стояли голые. На кухне брат Сенька уже сидел за столом и ел пельмени. Он был маленький, рот его открывался на одном уровне со скатертью, и можно было играть в интересный хоккей — гонять пельмени вилкой по тарелке и забрасывать их в рот, как шайбу.

— Перестань, — сказал Глеб. — Ешь как следует.

— Игра в одни ворота, — прошамкал Сенька.

— Это вчера вы так играли — и вправду в одни ворота. Продули с позорным счетом.

— А ты видел?

— Видел.

— Ничего ты не видел. Ты не мог — тебя Сергияковлич задавил. Видно, мало он тебя задавил.

— Эх ты, — сказал Глеб, — тебе врут, а ты веришь. Это я сам бежал и случайно стукнулся о заднее крыло, а он в это время поехал. Я сам стукнулся и упал, а все теперь говорят, будто задавил.

— Сенья, — позвала из комнаты мама, — ты когда сегодня вернешься?

— Поздно, — ответил Сенька. — Я на кружок.

— Ты ведь вчера ходил.

— Вчера в авиамodelный, а сегодня в переплетный. Столько, оказывается, кружков — чему хочешь можно научиться. Я теперь каждый день буду ходить, можно, мама?

— Ну конечно, — сказала мама. — Только не перепутай все. Когда ходишь в разные кружки, легко все перепутать; сделаешь, например, самолет в переплете, ведь смешно.

— Да, — согласился Сенька. — Пожалуй, это смешно. Надо будет попробовать.

— Так, значит, тебя не задавили, — сказал Толян, садясь за парту.

— Нет, — ответил Глеб. — Ты что читаешь?

— Про микроскоп. Как его открыл один, а никто не оценил. Дураки немые.

— Дашь почитать? Мне тоже интересно про микроскоп. Я давно думаю: может микроб разглядеть молекулу или нет. Тут не написано?

— Не знаю, я еще не дошел. Наверно, может — иначе, как бы он по ним ходил, не глядя. Ему же там больше не по чему ходить — он, наверно, так с молекулы на молекулу и переступает.

— А я тебе тоже чего-нибудь дам, — сказал Глеб. — «Задущены бездной» хочешь?

— Конечно, хочу, — ответил Толян, и они пошли к своей парте, потому что уже был звонок.

Перед уроком истории доску завесили новенькими картами с синими и красными стрелами походов навстречу друг другу — «иду на вы».

— Ребята, — сказала Татьяна Васильевна. — С сегодняшнего дня уроки у вас поведет Дина Борисовна. Она учится в институте и тоже скоро будет преподавать историю в школах. Да...

Видно было, что ей хотелось еще что-то сказать, но она передумала и ушла на последнюю парту.

— Практикантка, — прошептала сзади Сумкина. — Будет на нас тренироваться, словно мы какие-то подопытные кролики.

— Это мы кролики, — сказал Толян, — а ты не можешь. Ты морская свинка.

Дина Борисовна вышла к доске, и стало тихо. Что-то в ней было удивительно всем знакомое и очень историческое, будто виденное в иллюстрациях к «Трем мушкетерам» на пятой полке школьной библиотеки: во всем черном, с большим белым воротником и с волосами до плеч, только с указкой вместо шпаги.

— Садитесь, — сказала она и быстро прошла по проходу. Ей вслед кто-то шепнул, кто-то стукнулся, две ручки и учебник упали на пол.

— Итак, на сегодня вам было задано... Что же вам было задано?

— Турки-османы, — шепнул кто-то.

— Османская империя, — сказала Дина Борисовна, словно припоминая что-то для себя. — Но ведь это страшно интересно. В этой империи была масса интересных вещей, не правда ли... — она заглянула в журнал и прочла первую по списку фамилию, — Басманцев.

— Да, было там дело, — растерянно сказал Федя Басманцев. — Много чего было.

— Вот и расскажи нам.

— А какой параграф?

— Ну, все равно. Расскажи, что тебе самому интереснее

— Нет, я уж лучше, что вам.

— Тогда расскажи о государстве Тимура. Я думаю, всем это будет интересно.

— Тимур, — начал Басманцев, — Тимур...

— И его команда, — сказал кто-то в классе.

— Да нет, — с досадой отмахнулся Басманцев. — Это не тот. Тимур был великий полководец. Он хромал... в четырнадцатом веке. Его войско покорило много стран и городов... Иран, Сирию, Турцию и город Елец. Столицей его царства был Самарканд.

— Да-да, — сказала Дина Борисовна, — я тоже об этом читала. Нам рассказывали, что он был очень ловкий и коварный полководец.

— Хитрющий, — сказал Басманцев. — Я читал книгу, называется «Тамерлан», так там описан один случай... — И он, торопясь и сбиваясь, начал рассказывать этот случай, а за ним и другие, все, что он прочел в книге о Тимуре. Раньше никто бы не поверил, что Федя Басманцев знает столько замечательных историй о каком-то хромом полководце из далекого четырнадцатого века. Дина Борисовна слушала его так, будто все это было ей раньше совершенно неизвестно, и часто переспрашивала, особенно в том месте, где Басманцев рассказывал, что вот жили в городах люди, строили красивые дома, делали ковры, книги, вазы, и вдруг по желтой пустыне налетала конница сельджуков и все уничтожала на своем пути, а зачем — непонятно. Она очень увлеклась и не заметила, что Татьяна Васильевна поднимает руку и показывает ей на часы, а когда заметила, было уже поздно — половина урока прошла.

— Ой! — воскликнула она. — Хватит, Басманцев, хватит. Садись, отлично. Мы переходим к следующей теме: «Школа, наука и искусство в двенадцатом и тринадцатом веках».

Она сняла с руки часы и положила их перед собой.

— Вы все, конечно, знаете, что образование не всегда было обязательным делом. Но вы и представить себе не можете, как мало грамотных людей было в начале нашего тысячелетия. Многие императоры и князья даже не умели писать и

читать, а своих воннов считали на палочках, как первоклассники. Все непонятное, что встречалось людям в жизни, они сваливали на бога и чудеса. А как же иначе. Ведь это было страшно; когда что-нибудь непонятно, — ужасно хочется понять, я это знаю по себе.

Видно было, что она очень переживает за тех древних людей, будто ей самой приходилось жить с ними и разделять их невежество — бояться грома, падающих звезд, черных кошек, колдовства, извержений и других интересных явлений природы. Она ходила рядом с партами, изредка останавливаясь, поправляя рукой свою мушкетерскую прическу, и Глеб почувствовал, что он сам тоже начинает волноваться и представлять себе каких-то неизвестных людей, которые жили до него на свете, беспокоились о своих друзьях, путешествовали, воевали и, наверно, даже не думали, что вот будет он, Глеб Зенуков, ученик 6-го «б» класса, словно это такие пустяки. И, чтоб исправить их ошибку, он попробовал вообразить все множество живущих сейчас на земле людей и тех, которые еще будут жить, но испугался непривычной огромности таких мыслей и отчаянно замотал головой.

— И вот даже в эти темные времена, — говорила Дина Борисовна, — появлялись замечательные люди, ученые, которые стремились познать законы природы и заставить их служить человеку. Они положили начало многим современным наукам. Одним из таких ученых был Роджер Бэкон, англичанин. Мне он нравится больше всех. Он родился, — она взяла у Глеба учебник истории и прочла там, — в тысяча двести четырнадцатом, а умер в тысяча двести девяносто четвертом году. За свою жизнь он сделал множество открытий, но современники о них ничего не знали, и только через триста лет его работы были найдены другими учеными. В одной из книг он писал так — вы только послушайте: «Четыре, в высшей степени заслуживающие порицания, вещи составляют помеху делу истины. Преклонение перед ложным авторитетом, укоренившаяся привычка к старому, мнения невежд и гордыня мнимой мудрости». И дальше: «Где имеют силы эти помехи, там не действует ни разум, ни закон, там нет места для правды, там не имеют силы предписания природы, господствует порок, добродетель исчезает, там царствует ложь и гибнет истина».

Слова эти по отдельности всем были знакомы и понятны, но, составленные вместе и прочитанные вслух, они преврати-

лись во что-то необычное и возвышенное, отчего многие покраснели и согнулись над учебниками, словно стыдясь чего-то. Дина Борисовна опять увлеклась и не смотрела ни на часы, ни на Татьяну Васильевну, которая махала ей рукой, пытаясь сказать, что хватит про Бэкона — нужно переходить к другому материалу.

— Он занимался разными науками, — продолжала Дина Борисовна, — математикой, механикой, астрономией. И еще он был немножечко алхимик.

— Кто-кто? — не удержался Глеб.

— Алхимия — это почти химия, только без формул, наугад. Вот, например, в вашем химическом кабинете стоят различные банки с порошками и жидкостями. Вы не знаете, что это за вещества, и, если вас впустить сейчас в кабинет, вы, конечно, начнете все смешивать, и получится алхимия. Это очень увлекательная и опасная наука. Вот вы смешали несколько веществ, и получился какой-то неизвестный предмет. — Она вынула из портфеля и подняла над головой небольшую черную таблетку. — Совершенно неизвестно, что это такое. И вдруг...

Таблетка выскользнула из ее пальцев, упала на пол и громко взорвалась.

— Ой! — вскрикнула Сумкина.

— Еще! — зашумели все. — Еще разочек!

Татьяна Васильевна закрыла лицо руками, привстала, потом села обратно и с досадой хлопнула блокнотом по парте.

— А отчего он умер? — спросил кто-то. — Подорвался?

— Монахи и богословы ненавидели его, — сказала Дина Борисовна. — Он разоблачал их невежество, нечестность. У него не было никакой власти, но они его очень боялись; то, что он говорил, приводило их в ужас, и они разбегались, только увидев его в дальнем конце коридора. Они считали, что в их богословии наука закончена, все сказано и дальше идти некуда. Самым злейшим врагом Бэкона был генерал ордена — Иоанн Бонавентура. Он решил устроить над ним суд. И вот, когда собрался суд...

Она вдруг замолчала и остановилась около Дергачева.

— Что ты там ищешь? — спросила она. — Ты все время ищешь и не слушаешь. Разве тебе неинтересно?

— Мне неинтересно, — честно сказал Дергачев и встал.

— Почему? Тебе все равно, что случилось с Роджером Бэконом? Или как?

— Так ведь тут все очень просто. Надо было убить этого Бонавентуру, вот и все. Он сам виноват, что не догадался.

— Как убить?

— Обыкновенно как — кинжалом. Уничтожить.

— Но ведь пришел бы другой на его место.

— И этого тоже, — сказал Дергачев. Он даже слегка улыбнулся, так просто и понятно у него все получалось.

— Не знаю, — растерянно сказала Дина Борисовна. — Прямо не знаю, как тебе ответить.

Она беспомощно поковыряла указкой паркет и отошла к столу. В тишине все услышали, как за стеной в спортзале упало что-то тяжелое, потом застучали ногами и раздалось три свистка. Дергачев, ничего не понимая, оглядывался по сторонам, но все от него отворачивались и молчали, пока, наконец, Татьяна Васильевна не поднялась и не сказала:

— Ну хватит. Дергачев, давай сюда дневник и садись на место. Урок окончен. К следующему разу учить до четвертого параграфа. Все.

И сразу же прозвенел звонок.

ВСЕ НАОБОРОТ



— Ну, Зенуков, как ты себя чувствуешь? — спросил Сергияковлич. Глеб как раз ел пирожок и от неожиданности так сдал его зубами, что повидло полезло во все стороны и капнуло ему в рукав.

— Спасибо, Сергияковлич. Вот тут под коленкой синяк, и штаны немного порвались, а больше ничего.

— Ох, смотри, Зенуков, смотри — доиграешься ты, — с облегчением сказал Сергияковлич и ушел в учительскую.

— Басманцев! — позвали из класса.

— Да погодите вы! — крикнул, подбегая, Басманцев. — Глеб, только честно: у тебя сколько марок?

— Двести тридцать шесть, — сказал Глеб.

— Ну вот, я же говорил! Я ему говорил, что у меня больше. У меня двести пятьдесят девять — больше всех в нашем классе.

От радости он схватил Глеба за рукав и раздавил там повидло.

— Басманцев, — снова позвали из класса. — Это ты оставил коржик на парте?

— Ну я, — обернулся Басманцев.

— По нему муха ползает — иди прогони ее.

«Откуда же мухи зимой, — подумал Глеб. — Какой-то он доверчивый, этот Федька».

Кругом была ужасная толкотня, и последние учителя проплывали над ней в учительскую, как корабли. Вдруг откуда-то вынырнул Толян с учебником географии и потащил Глеба в соседний 6-й «а».

— Айда скорей, меня сегодня вызовут, а я еще глобуса не выучил. У них там есть маленький на подоконнике, ты мне покажешь, ладно?

«Опять там, наверно, Семенова сидит, — подумал Глеб. — Вечно она мне попадается».

Они пошли в 6-й «а», и там на первой парте действительно сидела Семенова. Она читала какой-то журнал; волосы ее свесились вниз и волочились по строчкам, она подхватывала их рукой, убирала за спину, но они не держались там и сыпались обратно. Глебу стало немного страшно и вроде бы чего-то смешно, что он вот стоит здесь рядом с ней, все на него смотрят и думают какую-нибудь ерунду — что пришел Зенуков, тот, которого задавили; задавили — а он ходит, значит, не очень задавили; и китель у него без пуговицы; где же он пуговицу потерял, может, вчера у Толяна? Или в планетарии? Там темно было, не видно. «Наверно, в планетарии», — думают они и ничего больше не замечают.

— А где же у них глобус? — спросил Толян. — Семенова, вы куда дели свой глобус?

— Его унесли — будут приделывать Луну и спутников, — сказала Семенова. — А у вас разве нет?

— Нет, наш глобус уже сгорел. Месяц назад.

— Как сгорел?

— Это все Басманцев. Говорит: «Давайте я вам настоящие вулканчики устрою, с извержениями». Вот и устроил. Весь Тихий океан сгорел, пока не потушили.

— Не надо было давать. Я бы ни за что не дала.

— Много ты понимаешь, — сказал Глеб. — Лучше скажи: ты знаешь, кто такой был Роджер Бэкон?

— Не знаю.

— Эх ты. Пошли, Толян, что с ней разговаривать — Бэкона не знает.

— Пошли, — сказал Толян.

— А вы!.. Вы сами... — крикнула им вслед Семенова, но все же достала портфель и, торопясь от обиды, начала листать учебник ботаники — ей почему-то казалось, что этот неизвестный Роджер Бэкон обязательно должен быть садоводом.

За несколько минут до звонка в класс вбежал Коля Свиристелкин и закричал:

— Ребята, что я вам расскажу! Вы только послушайте, ребята. Да тише вы!

— Ну что еще? — зашумели все. — Давай говори.

— Да нет, вас слишком мало. Зовите всех, тогда расскажу. — Он бросился к двери и закричал:

— Глеб, Толя! Идите скорей!

Видно было, что он хочет рассказать что-то смешное и боится, что не все его услышат. Ему ужасно редко удавалось рассказывать смешное; хотя он много раз пытался, но все получалось что-то не то.

— Ну, Коля, говори же, — сказала Сумкина. — Все уже здесь.

Коля вскочил на парту и сделал такие глаза — они у него почти выкатились.

— Там в учительской... в учительской, я слышал, как... — тут он замер, выжидая, — как этой Дине Борисовне поставили за урок пару, во!

— Ну и что? — сказал Дергачев. — Что ж тут смешного? И верно, никто не засмеялся.

— Как же? Сама учительница и сама же получает пару — разве не смешно? Все наоборот. Вы только подумайте, как это смешно, — уговаривал Коля. Ему всегда казалось, что если наоборот, то уж страшно смешно; и все его истории были похожи одна на другую — то он видел, как пожарное депо и вдруг загорелось, или, например, ехала «Скорая помощь» и вдруг кого-то задавила; никто не смеялся этим историям.

— Эх ты, комик, — сказал Басманцев. — Слезай с моей парты.

— Ну и слезу, — сказал Коля, — подумаешь. Вы меня

еще вспомните. Я вам такое расскажу — вы все лопнете от смеха, тогда будете знать.

— И этот взрыв, этот ужасный взрыв, — говорила Татьяна Васильевна. — Как вам такое пришло в голову. Хорошо еще, что никто не пострадал. И где вы только достали взрывчатку?

— Да это же совсем не опасно, — сказала Дина Борисовна и полезла в портфель.

— Нет-нет, прошу вас, хватит! — воскликнула Татьяна Васильевна. — С меня хватит. Вы совершенно сорвали план урока. Вместо трех учеников успели спросить только одного. Один ученик целых двадцать минут говорил о посторонних вещах, и времени, конечно, не осталось. Новый материал изложили из рук вон плохо. Бэкон, Бэкон и Бэкон, и даже не успели рассказать, как он погиб. Кстати, я немного забыла — чем кончился этот суд над ним?

— Его осудили, он просидел в тюрьме четырнадцать лет, — сказала Дина Борисовна.

— Ах да, теперь вспоминаю. Но это неважно. Честно вам сказать, я за всю свою жизнь не видела такого плохого урока. Подумайте, Дина Борисовна, может, вам лучше переменить профессию. Еще не поздно.

— Нет-нет, это невозможно, — испуганно сказала Дина Борисовна. — Только не это.

— Да почему же? Есть масса профессий ничуть не хуже.

— Нет, мне обязательно надо эту. Дайте мне попробовать еще раз; может, у меня получится.

— А если вы опять сорвете урок?

— А если, а если, — сказал вдруг Сергиякович. — Но так же нельзя, уважаемая Татьяна Васильевна. — Он стянул очки с кончика носа и посмотрел на нее поверх ободков.

— Не понимаю, — сказала Татьяна Васильевна.

— Нельзя так требовать с первого раза. Гвоздь! Попробуйте вбить в стол простой гвоздь — с первого раза у вас ни за что не получится. Надо как-то помочь молодому педагогу Дине Борисовне, дать ей возможность познакомиться с ребятами, привыкнуть.

— Да, пожалуйста, — сказала Дина Борисовна.

— Я предлагаю вот что. Пусть она месяц поработает у них вроде пионервожатой, проведет несколько мероприятий;

и тогда мы посмотрим — можно доверять ей учеников или нет. Ну как, вы согласны?

— Да, конечно, я согласна, — сказала Дина Борисовна.

— Если будет трудно, обращайтесь сразу ко мне, не стесняйтесь. Но сначала хорошенько обдумайте все мероприятия — это самое важное.

— Я пойду с ними в планетарий.

— Нет, в планетарий они уже ходили. Вы не торопитесь. Обдумайте все хорошенько.

— Конечно, я что-нибудь придумаю.

— Ну хорошо, — сказала Татьяна Васильевна. — Только, пожалуйста, чтобы ничего не взрывалось.

ФИНСКИЕ ЛЫЖИ



Глеб натирал лыжи мазью и не заметил, как за его спиной из-под одеяла вылез Сенька.

— Ты куда? — спросил Сенька. — В спортшколу?

— Нет, мы сегодня на лыжах. Всем классом. В спортшколу завтра.

— А зачем тебе в спортшколу? С кем тебе надо подраться?

— Ни с кем. Мы там занимаемся.

— А мне надо подраться. С Женькой Карташовым, знаешь?

— С Женькой? Вы же с ним друзья.

— Были друзья, а теперь нет. Он меня оскорбил. Я теперь ему покажу, он у меня узнает, как оскорблять. Не слыхал, в нашей спортшколе есть бокс?

— Ты лучше скажи, как он тебя оскорбил. Может, тебе не в бокс надо, а прямо в стрелковый кружок — из винтовки «кых»! Или в самбо.

— Он сказал, что я красавчик. «Ты, — говорит, — такой красавчик, такой миленький, просто прелесть». Это его сестра так научила. Я ему говорю: «Женька, не дразнись, а то я с тобой подерусь». А он говорит: «Ты не умеешь. Я тебе как дам, ты у меня, знаешь, куда улетишь!»

— Женька даст, — сказал Глеб. — Он здоровый.

— А я научусь. Я ему говорю: «Знаешь, теперь какие кружки есть. Я пойду, меня сразу запишут».

— Иди в самбо, — сказал Глеб. — Это для тебя лучше всего. Там и силы не нужно — одни приемчики. Приходи завтра, я тебе покажу, где они занимаются.

У вокзала улицы уже высохли, как летом, и было смешно смотреть на людей с лыжами — не верилось, что где-то еще есть снег, по которому можно ездить. Дина Борисовна стояла на самой верхней ступеньке, чтобы было заметней, и махала подхопившим ребятам желтой варежкой, надетой на лыжную палку, — махала, махала, пока варежка не сорвалась и не улетела в толпу.

— Вот так всегда, — сказала Сумкина, отмечая в списке. — Все придут, а Косминского нет. Вечно он опаздывает, а еще говорит, что Косминский — это все равно, что Космический — одно и то же.

Потом пришел, наконец, и Косминский с большим мешком за спиной, и все побежали к поезду.

— Чего это ты столько набрал, — спросил Глеб, щупая мешок. — А это что? Какой-то ящик.

— Да нет, — ответил Косминский, — это шахматы. А вдруг, думаю, мне захочется поиграть в дороге. Я специально за ними вернулся — потому и опоздал.

— А рояль ты не захватил? — спросил Толян. — Ты же любишь играть на рояле — вдруг тебе захочется.

— Ладно-ладно, — сказал Косминский, — вот захотите в шахматы сыграть, тогда еще попросите.

Поезд тронулся и быстро проехал мимо опоздавших людей, мимо тоннелей и старого железнодорожного плаката в конце платформы, на котором все успели прочитать только три слова: «...можете потерять жизнь...»

— Как это? — заволновался Свиристелкин. — Почему потерять, из-за чего? Ты не видел, что там дальше написано?

— Не видел. Дальше маленькими буквами, не разобрать.

— Ребята, не расходитесь, садитесь поближе, — говорила Дина Борисовна.

— Не так, да не так же, — шептала Сумкина. — Ты сюда, а ты сюда — мальчики отдельно, девочки отдельно.

— Да ну тебя, сама ты отдельно, — сказал Дергачев.

В вагоне почти все ехали с лыжами, а те, кто был без лыж, чего-то стеснялись и старались глядеть только в окна, будто им было стыдно, что вот последние дни зимы, а они едут за город просто так. Глеб по себе знал, как это бывает, когда смотришь парад вооруженных сил или марафонский

бег на улице, становится как-то неловко и очень хочется маршировать или бежать там вместе со всеми.

— Дина Борисовна, — спросил Басманцев, — это у вас какие лыжи, турецкие?

— Нет, это финские. Видишь, тут написано.

— Ага, красивые. А у меня есть турецкая марка, на ней тоже нарисованы лыжи — очень похоже.

— Неужели турецкая? Как интересно — турки на лыжах. Где же они там катаются?

— Ну не знаю. У меня много всяких марок.

— У него больше всех! — крикнул кто-то. — Разве он вам не говорил?

— Как же ты забыл, Федя?

— Он такой застенчивый — никому не рассказывает.

— Вот они смеются, — сказал Басманцев, — ругают меня. Не понимают, дураки, что у меня должно быть больше всех марок.

— Почему у тебя должно быть больше всех? — спросила Дина Борисовна.

— Ну как же. Я и ростом выше всех, и бегаю быстро, — значит и марок у меня должно быть больше всех.

— А мой брат Сенька ходил в марочный кружок — там у ребят все равно больше, чем у тебя. Больше тысячи.

— Где? Где такой кружок? — закричал Басманцев.

— Да, я тоже туда ходил, — сказал Толян. — Там всё обмениваются — сидят два часа за столом и обмениваются. Интересно. Я там всегда так менялся, что у меня к концу ни одной марки не оставалось. Ну и пусть, думаю. Все равно они под конец уже потные совсем и липкие — так и расплзаются.

— Я бы лучше сучки собирала, — сказала Дина Борисовна. — Есть такие смешные сучки — как танцоры. Или как рыцари.

— Как сапоги, — сказал Косминский.

— Как лошади!

— Пистолеты!

— Пауки!

— Собаки!

— Стенки Разины!

— Мушкетеры!

— Хватит-хватит, довольно! — воскликнула Дина Борисовна. — Смотрите — нам сейчас выходить.

Поезд остановился, и ребята, стуча лыжами, вышли на платформу. Сразу за платформой начинался лес больших сосен, и снегу там лежало еще много, только он уже был не очень белый и какой-то неровный — как кефир.

— Ну, кто у вас лучший лыжник? — спросила Дина Борисовна.

— Я! Я! — закричали несколько голосов.

— Федька лучше всех, — сказал Глеб. — Басманцев.

— Значит, он пойдет последним.

— Почему последним? Я не хочу.

— Ты будешь помогать отстающим. Будешь отставать вместе с ними, — сказала Дина Борисовна.

— А куда мы пойдем? Давайте посетим исторические места.

— Дина Борисовна, давайте! Тут есть исторические места?

— Конечно. Все места исторические.

— Ну да.

— Как это? Выходит, и платформа историческая?

— И платформа.

— А мы?

— А я? — спросил Косминский.

— И ты тоже. Может, через пятьдесят лет экскурсоводы в музее будут говорить про твой мешок: «Вот с этим мешком Сева Косминский ходил на лыжах».

— Да он не ходит никогда.

— Это он случайно.

— Слышишь, Косминский, ты теперь береги свой мешок.

— Не запачкай.

— Давай я тебе почищу, — неудобно такой грязный в музей.

— Поехали! Поехали скорее! — закричали впереди.

В лесу что-то тихо сыпалось с веток, и вдоль лыжни росли кусты, густо забитые снегом. Время от времени попадались флажки и разноцветные стрелки на деревьях, а один раз пробежал лыжник № 136, запыхавшийся и такой краснощекий, будто его только что волочили лицом по сугробам. Дина Борисовна часто отходила в сторону, пропуская мимо себя весь класс, потом снова обгоняла, быстро, как на коньках, и по дороге давала советы насчет дыхания и всего остального.

— Дыши, дыши сильнее, — говорила она. — Не гнись.

— Работай палками. Да нет, вот ты упираешься, а лучше наоборот — отталкиваться.

— Толя, ты почему без шапки?
— А я назло, — сказал Толян.
— Он все назло делает, — сказал Косминский. — Он и по льду бегаёт и простужается нарочно — я его знаю.
— Что ты знаешь? Когда я простужался? Я уж три года не простужался.
— Вы не бойтесь, он не простудится, — сказал Глеб. — Он закаленный.
— Закаленный, как пирожок соленный, — ответила Дина Борисовна и быстро уехала вперед.
— Подумаешь — обогнала и воображает, — сказал Толян. — Если б не ты, я бы сейчас показал класс. Болтаешься тут под ногами.
— Ну да, показал бы ты, — ответил Глеб. — У нее, наверно, первый разряд по лыжам — вон она как шпарит. За ней и Федька бы не угнал, не то что ты.
Ему почему-то очень нравилось, что Дина Борисовна так здорово ходит на лыжах, и все это видят.
Лес кончился на берегу замерзшей реки. Берег был высокий, и с него далеко, до самого горизонта виднелись интересные исторические места с черными домиками, полями, с высоковольтными арками и маленькими автобусами на шоссе, а над всем по небу тянулись следы двух самолетов, которые будто бы долго гнались друг за другом и вдруг оба одновременно остановились.
— Вперед! Скорей! — закричал Басманцев и бросился вниз; и за ним все ребята, и девочки, и Дина Борисовна, по крутому обрыву, между пеньками и ямами, падая, сталкиваясь и крича: «Скорей! Скорей!» — словно они боялись, что им не хватит времени объехать все интересное.
— За мной! За мной! — кричал Косминский. Но за ним уже никого не было.
«И за мной, — подумал Глеб. — Хоть бы кто-нибудь за мной! Семенова, например... Пусть это будет Семенова».
Вдруг он увидел, как Дина Борисовна впереди него странно подпрыгнула, взмахнула руками и исчезла в яме под снегом.
— Стой, на помощь! — закричал он, тормозя и цепляясь за снег руками. Еще несколько ребят остановились рядом с ним, оглядываясь и ища, кого нужно спасать, но Дина Борисовна уже поднялась сама. Она смотрела себе под ноги и с недоумением шарил в яме, запуская руки по самую шею,

доставала оттуда обломки своих лыж, кусочки палок и зачем-то аккуратно складывала их рядом с собой в виде колоды. Потом потерла ушибленное плечо и покачала головой от боли, будто удивляясь.

— Ну как же это... Не понимаю... За что я зацепилась? — говорила она.

— Растяпы! — закричал, карабкаясь снизу, Басманцев. — Не могли предупредить, не уберегли! Я же видел эту яму, я вас предупреждал.

Ребята подъезжали и останавливались около Дины Борисовны, молча и с уважением рассматривая красивые обломки финских лыж.

— Вот это да, — прошептал кто-то.

— Что же мы теперь? Неужели домой? — спросил Свиристелкин.

— Вот и покатались.

— Нет-нет, мы что-нибудь придумаем, — сказала Дина Борисовна. — Сейчас придумаем.

— Смотрите! — воскликнул Глеб, указывая вниз. — Девчонки на лыжах. Айда, отнимем!

— Айда, айда! — загалдели все, и несколько человек побежали к неизвестным девчонкам.

— Стойте! Сейчас же вернитесь! — закричала Дина Борисовна. — Как вам не стыдно — это же такая подлость. Идите сюда; сейчас мы найдем выход, что-нибудь придумаем. Какие нашлись грабители!

Грабители вернулись, и некоторое время все молчали, в нетерпении оглядываясь на деревья и арки там внизу.

— Дина Борисовна, — сказал Басманцев. — Вот Косминский больше не хочет. Он вам отдаст свои лыжи, и мы поедем.

— Это правда? — спросила Дина Борисовна. — Ты действительно больше не хочешь?

Косминский молча вышел вперед, нагнулся к креплениям, и было слышно, как застучали шахматы, пересыпаясь в его мешке.

— Ну нет, — сказала Дина Борисовна, — перестань. Я вижу, что тебе совсем еще не надоело кататься.

Косминский молчал.

— Да он правда не хочет! — крикнул кто-то.

— Он и ездить-то не умеет!

— Давай снимай!

— Он лучше дома на рояле поиграет.
 — Слышишь, Косминский!
 — Снимай, кому говорят!
 — Сейчас же перестаньте! — воскликнула Дина Борисовна. — Вы такие!.. Такие чужие — я больше с вами не могу. И все будто для меня, чтобы мне помочь... Как вам не стыдно. Катайтесь теперь сами, делайте, что хотите, только чтобы не для меня.

И она быстро пошла обратно в сторону станции, словно убегала, боясь, что ребята действительно сделают для нее что-нибудь такое — ограбят кого-то или начнут перочинными ножиками пилить сосну и вырезать ей новые лыжи, а она не сможет им помешать.

— Ну что, Косминский, — сказал Толян, — видишь, что ты наделал.

— Добился своего.

— Эх ты!

И тут Косминский не выдержал и заплакал.

ФОКУСЫ, ПИСЬМА И СИЛИКАТЫ

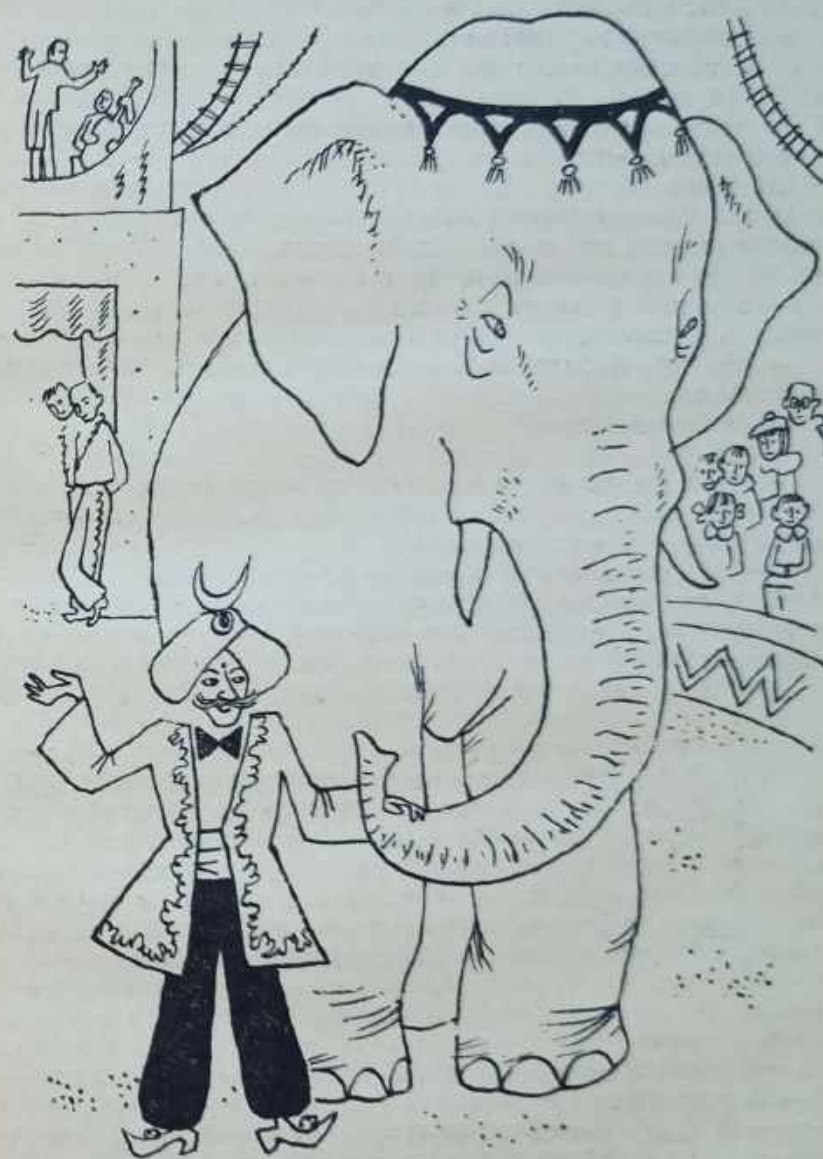


В антракте Сенька и Глеб купили стаканчик мороженого и по очереди ковыряли в нем деревянными палочками, долго высматривая, откуда вкуснее ковырнуть. Рядом с Сенькой сидел человек с газетами в карманах пальто. Он быстро читал их, оттягивая пальцами щеку, и косился на мороженое, — видно, ему тоже захотелось. Щеку он мог оттянуть так далеко, что Глебу иногда делалось страшно и он отворачивался, а Сенька даже не вытерпел и тихо попросил:

— Дядя, не нужно больше.

— А? — сказал человек. — Ладно, больше не буду.

Во втором отделении были одни фокусы — выступал знаменитый иллюзионист. Он вышел на середину, взмахнул на три стороны руками, а за ним в свете прожекторов появился небольшой слон с холодильником на спине. К слону приставили лесенку, и по ней из холодильника вышли на арену восемь карликов, пять обезьянок, два зайца, петух, кошка и собака



и три женщины — две очень красивые, а одна не очень. Все захлопали, и Сенька тоже, а человек с газетами заглянул ему в лицо и удивленно пожал плечами. И дальше, какой бы номер ни показывали, он все откидывался, закрывая глаза рукой, и бормотал про себя:

— Что он там делает, что он делает! Нет, это невозможно, я этого не вынесу.

Наверно, он очень хорошо видел, как делаются все эти фокусы, и не мог понять, что другим ничего не заметно, — ужасно переживал и со страхом заглядывал в лица, будто ждал, что вот-вот все тоже увидят и возмутятся.

— Дядя, — сказал Сенька, — что вы за меня хватаетесь? Вы лучше не хватайтесь, а расскажите, как он делает.

— Да неужели ты не видишь?! Ну, смотри на его ногу, видишь, как он ее держит. А теперь — раз! — видал? Ну что, понял теперь?

— Нет, — сказал Сенька.

— Как же ты смотришь? Неужели никто ничего не видит!.. Вот он показывает целое стекло, а сейчас раз — и задвинет. Ну, теперь-то понял?

— Нет, все равно не понял, — сказал Сенька.

И никто кругом не понял, — всем было очень интересно. Глеб даже слышал, как один мальчик, уже выходя из цирка, сказал:

— Мама, как хорошо, что я родился.

Институтский коридор был увешан сатирическими газетами. На одной были нарисованы колхозники, которые рядами маршировали за плакатом с надписью: «Поможем студентам сдать экзамены». Дина Борисовна прошла мимо газет, поглядывая на ходу, нет ли чего-нибудь новенького, и спустилась по лестнице к дверям «Лаборатории силикатов». За этими дверями стояло множество специальных шкафов, похожих на буфеты, а около одного из них сидел бородатый студент и сильно растирал в каменной ступке, наверно, эти самые силикаты.

— Ну что? — спросил он, подвигая Дине Борисовне стул и чему-то смеясь. — Поверила теперь?

— А я это и раньше знала, — ответила Дина Борисовна. — Но все равно я не отступлюсь. Тебе еще долго здесь сидеть?

— Минут сорок. Подожди меня, я тебе еще взрывчатки изготовлю.

— Нет, это теперь запрещено. Лучше придумай мне хорошее мероприятие. Вот я вчера ездила с ними на лыжах, и то ничего не вышло.

— Почему? Ты ведь так здорово ходишь.

— Просто не могу понять, за что я зацепилась. Там был совсем ровный спуск и вдруг — раз! — и полетела.

— Сломала лыжи?

— Вдребезги! На мелкие кусочки.

— Да, это ты напрасно. Лучше бы ты сломала ногу.

— Вот еще! Зачем? Я не хочу.

— Это бы их сплотило. Они бы сделали тебе лубок, отнесли бы на станцию, — в общем, спасли бы тебя. Знаешь, как им нравится спасать.

— Перестань. Ты всегда смеешься. Даже когда мне плохо, ты все равно смеешься.

— А что я могу сделать? Или хочешь, возьму их с собой в подводную экспедицию? На Чудское озеро, с аквалангами.

— Это еще когда будет. И потом, лучше такое мероприятие, чтобы с пользой. Для школы, например, или металлолом.

— Так я же и говорю. Соберем на дне доспехи псов-рыцарей и сдадим — пускай из них сделают трактор. Говорят, эти доспехи делали из очень прочной стали, получится замечательный пес-трактор.

— Ты опять, — сказала Дина Борисовна, но не смогла удержаться и тоже засмеялась. — Нет, вот ты не веришь, а я обязательно что-нибудь придумаю.

Пистолет стрелял очень сильно, но пуля была привязана веревочкой.

— Ну что, покупать? — спросил Сенька.

— Конечно, покупай, — сказал Глеб. — Что же, ты зря копил столько времени.

— Дуло у него вроде кривое, — сказал Сенька. — Ну, да ладно уж.

Он пересчитал на ладони деньги, купил пистолет и первым делом перерезал веревочку.

— Буду развивать меткость. Разовую немножко и пойду в стрелковый кружок. Хорошо! Вон видишь — кошка, хочешь, попаду?

— Нет, в кошку не надо.
— А она вредная, заразу разносит.
— Что ж, если ты в нее попадешь, она, что ли, перестанет разносить?

— Ну, тогда в дерево.
Они вошли в садик. Сенька выстрелил в дерево, но не попал, и пуля улетела далеко в сторону детской площадки.

Сенька нашел пулю и крикнул:
— Это потому что в дерево! А в Женьку Карташова я бы точно попал, хоть с десяти шагов. Он же толстый.

— Ладно-ладно, — сказал Глеб, — еще научись. А в самбо не записался?

— Записался.
— Ну все тогда. Пошли домой.

Дома папа сидел без пиджака и объяснял маме, как нужно чинить телевизор. Мама смеялась и делала вид, что ничего не понимает, — видимо, ей хотелось, чтобы по-прежнему чинил папа.

— Опоздали, — сказала она, взглянув на часы. — Будете теперь разогревать сами. И посуду мыть тоже, — мы с папой заняты.

— Глеб, — крикнул папа, — там тебе письмо! Возьми у меня на газетах.

«От Семеновой, — сразу подумал Глеб. — Ну вот, опять. И чего она ко мне привязалась? Даже подумать ни о чем нельзя — обязательно она влезет. Будто мне не от кого писем получать».

Адрес на конверте был правильный, но само письмо оказалось написанным по-английски. Это уж было совсем непонятно. Никогда у Глеба не было знакомых из Англии. Он хотел показать письмо отцу, но подумал: «А вдруг и вправду от Семеновой?» — и остановился. Сам он учил в школе немецкий и по-английски знал только «хау ду ю ду» и еще слово «реасе», которое они однажды рисовали на праздничном плакате.

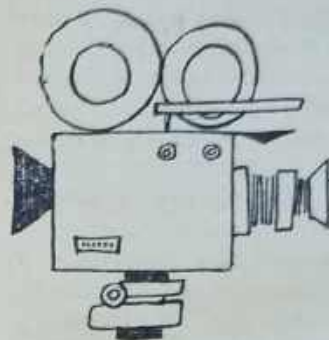
«Вот это влип так влип, — подумал Глеб. — Что же теперь делать?»

— Давай я буду греть суп, а ты второе, — сказал Сенька.
— Да ну тебя, отстань ты со своим супом. Не видишь, что ли, — я письмо читаю.

— Да, ты хитрый, — сказал Сенька. — Всегда ты вывернешься. Или письмо получишь, или еще что...

И ушел греть один.

КИНО



Кино! На улице снимают кино.

Прохожие жмутся друг к другу, вертят головами. Где? Да где же? И вот у стены видят юпитера и аппараты, огороженные веревкой, — это там снимают кино. А про что это? О чем этот фильм? Да что же там происходит? Нет, никто еще не знает. Все теснятся поближе к середине — оттуда видна витрина магазина, разбитая и заложённая мешками с песком, а рядом ходят люди в темных очках и негромко приказывают.

Вот, значит, как снимают кино.

Потом еще выходят солдаты. Это какие-то странные солдаты, в невиданных шинелях; умело перепачканные и запыленные, они выстраиваются в ряды, и девушка с цветами идет мимо них и каждому дает по цветку. Она раздает цветы и красиво задерживается около каждого, но люди в темных очках вертят головами и недовольно говорят что-то, и вот она уже возвращается обратно и отнимает у солдат цветы, — ничего не поделаешь, снимают кино.

А люди всё жмутся и ждут чего-то, и мальчишки шныряют между ними и рвутся за веревку, но их не пускают, ведь это нешуточное дело — снимают кино.

Кругом начинается весна, ярко светит солнце; и машины с трудом проезжают в толпе, шоферы выглядывают из кабин, пассажиры толпятся у окон, и Дина Борисовна тоже, и два троллейбуса зацепились зеркалами, а один стукнулся о киоск с мороженым — снимают кино!

— Борьба народов Африки за свою свободу разгорается все сильнее и сильнее, — сказал Басманцев. — Я думаю, что в будущем году они уже победят всех колонизаторов.

Он делал доклад о международном положении.

— Мало ли что ты думаешь! — крикнул Толян. — А ты скажи почему.

— Потому что они борются за свободу. Те, которые за свободу, всегда побеждают.

— И еще почему, — сказал Дергачев. — Потому что неграм лучше воевать, чем белым. Они черные, и в них трудно целиться — не видно мушки.



В это время вошла Дина Борисовна. Она была чем-то очень взволнована и все поглаживала и поправляла кожаный футляр с застежками, который висел у нее на плече.

— Ребята, — радостно сказала она. — Смотрите, что я достала. Мы будем снимать кино, вот!

И она открыла футляр.

Те, кто сидел на передних партах, начали вытягивать шеи, а задние вообще вскочили, бросились вперед — и вышла настоящая свалка.

— Какое кино?

— А мы не умеем.

— Давайте комедию!

— Комедию!

— С Чарли Чаплиным.

— А кто будет снимать?

— Можно, я!

— Почему это ты?

— А кто же? Ты, что ли?

— Дина Борисовна, какой будет фильм — иностранный или как?

— Давайте иностранный!

— Нет, лучше балет на льду.

— Какой же может быть иностранный! — воскликнула Дина Борисовна. — Где мы возьмем иную страну. Вы уж скажете так скажете. Разве мы сами иностранные?

— Мы исторические, — сказал Косминский.

Ребята вернулись за свои парты, но некоторые все же успели поругаться.

— Главное, чтобы все-все приняли участие, — сказала Дина Борисовна, — и я тоже. Одни будут режиссерами, а другие операторами, актерами, кто-нибудь сделает костюмы — каждому найдется работа по душе. Поднимите руки, кто хочет быть актерами.

Актерами не хотел быть никто.

— Ну уж этому я не верю, — удивилась Дина Борисовна. — Да я сама всю жизнь хотела сниматься. Все хотят, а вы нет? Ну, а кто будет режиссером?

И режиссером тоже никто не хотел. Все не отрываясь смотрели на небольшой с черной, как у пистолета, рукояткой киноаппарат, который сверкал из футляра кнопками и линзами, — все хотели снимать.

— Но это же невозможно. Нельзя сделать фильм с одними только операторами. Что у нас может получиться, если все будут только снимать!

— А почему все? — закричал Басманцев. — Конечно, всем нельзя. Есть, которые и фотографировать не умеют. У меня, например, есть фотоаппарат, — значит, мне можно.

— У кого еще есть аппараты?

— У меня! — хором крикнули Глеб и Косминский.

— У меня даже с собой, — сказал Косминский, открывая портфель. — Я как раз сегодня подумал: вдруг мне захочется поснимать.

— Мало ли что тебе захочет-



ся, — сказал Дергачев. — Мало ли что у вас есть. Мы все хотим снимать.

— Да-да, мы все!

— Мы научимся!

— Пусть они не воображают.

— Дина Борисовна, давайте все!

— Хорошо, — сказала Дина Борисовна, поднимая руку. — Давайте все. Мы сделаем вот что. Пусть каждый снимает маленький кусочек. Что-нибудь такое, что ему самому понравится в нашем городе или дома — где угодно. А потом мы подумаем, как их всех склеить, чтобы получился фильм. Тут главное, чтобы каждый снял что-нибудь любимое, — тогда все получится хорошо.

— Чур, я первая! — крикнула Сумкина. — Я сниму нашего Тобику — он мне очень нравится.

— А я — салют.

— Мотокросс!

— Футбол!

«Ну уж нет, — подумал Глеб. — Только не Семенову».

— А можно, у нас дома новый приемник — очень красивый?

— Лучше телевизор, если что-нибудь интересное.

— Только не торопитесь, — сказала Дина Борисовна. — У вас еще будет время подумать. Нужно выбрать самое лучшее, — ведь один только раз. Поняли?

— Поняли, — хором ответили ребята.

— А теперь слушайте внимательно, — я буду объяснять, как нужно обращаться с аппаратом.

Вечером в спортзале занимались гимнасты. Несколько жильцов из дома напротив сидели у своих окон и с удовольствием смотрели через улицу на ребят, как они прыгают и раскачиваются на кольцах, будто это были какие-нибудь настоящие соревнования на первенство города или вообще футбол. После гимнастов должны были заниматься фехтовальщики; они уже толпились в дверях и в нетерпении позвякивали рапирами, а жильцы в доме напротив оглядывались и подзывали других, — очевидно, говорили, что сейчас будет еще интереснее.

— Ну, ребята, на сегодня все. Построились, — скомандовал тренер. — В раздевалку шагом марш!

В раздевалке Басманцев сказал:

— Я уже точно решил — буду снимать прыжки через коня. Это лучше всего. Вот только не знаю еще, какие лучше — с трамплином или без трамплина. Хорошо бы и то и другое.

— А я папу, — сказал Косминский. — Мой папа пианист. Он мне больше всех нравится.

— Подумаешь, пианист. Кому они только пужны, эти пианисты.

— Да, а зато знаешь, какие у него пальцы? Таких ни у кого нет. Он может одной рукой унести сразу пять бутылок лимонада — в каждом пальце по бутылке, вот как.

— А английский язык он знает? — спросил Глеб.

— Наверно, знает. А что?

— Да нет, так просто.

— И зачем только чинят ботинки, — сказал Басманцев, обуваясь. — Вот ходил я в них, все было нормально, а теперь зачем-то починили, и я с непривычки так спотыкаюсь — весь город расковырял.

Они кончили одеваться и вышли на улицу. Идти им нужно было всем троим в разные стороны, но после тренировки так хорошо гудело в руках и ногах, так ярко и по-новому виделась знакомая улица, с высокими, освещенными по пояс домами, и так не хотелось, чтобы все это кончилось, что Глеб взмахнул чемоданом и спросил:

— Пошли, что ли?

— Пошли, конечно, пошли.

И они вместе пошли туда, где никто из них не жил и где вообще никто жить не мог, потому что там был городской парк и в нем такие голубенькие киоски, а в киосках продавался лимонад.

— Знаешь, Глеб, — сказал Косминский, тряся бутылку, чтобы она посильнее шипела, — твоего Сеньку сегодня побили. То есть не побили, но, в общем, он там дрался — я видел.

— Это, наверно, с Женькой Карташовым. Как же его побили? Он ведь специально в самбо занимался, приемчики учил.

— Да, сначала он пытался приемчиком, но тот Карташов, видно, здорово трусил и все вырывался. Он так сильно вырывался, что твой Сенька вдруг упал. Тут уж они и подрались просто так, без приемчиков — не понять даже, кто победил.

— Не доучился, значит, — сказал Глеб.

— Да бросьте вы об этой ерунде, — сказал Басманцев. — Давайте лучше о деле — кто сегодня снимал?

— Сегодня Сумкина, — сказал Глеб. — Я ей помогал. Она хотела снять Тобика, как он служит и все такое, но тут пришла ее мама и говорит: «Ах, вы уже снимаете! Подождите немного, я переоденусь. И что ж ты меня не предупредила, — я бы зашла в парикмахерскую». Сумкина растерялась и говорит: «Почему ты так рано? У тебя же собрание». А та говорит: «Отменили собрание» — и пришлось ее снимать, а не Тобика.

— Да, родители всегда влезут, — сказал Басманцев. — Мои даже сначала не верили, что нам дают киноаппарат; говорят, будто мне никто не доверит. Зато, когда увидели, начали так уважать, расспрашивают обо всем; отец даже сказал, что возьмет на охоту. «Теперь, — говорит, — вижу, что тебе можно поручать серьезное дело». Наконец-то до него дошло.

— А Свиристелкин опять хвалился, что всех насмешит. «Такую, — говорит, — шутку снял, все упадут со стульев».

— Ладно, в субботу увидим, что он там снял.

— Да, в субботу интересно будет. Значит, в пять часов.

— Точно в пять.

— Ну, пока.

НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕВЕСТИ



— Сенька, ты чего? — спросил Глеб.

— Чего?

— Стоишь тут, высматриваешь. Кого ты высматриваешь?

— А что, нельзя, что ли?

— Да ты уже третий день в окно смотришь. Думаешь, я не вижу?

— Ну и видь себе на здоровье.

— Ты что, с Женькой дрался?

— А ты откуда знаешь?

— Я знаю. Что же ты приемчиком его не взял? Не доучился,

что ли? Надо было как следует выучить, походить еще месяца два, а так быстро, конечно, не научишься.

— Да я хотел подольше походить, а потом мне без него как-то скучно стало, и я решил поскорее. Не утерпел.

— Вот видишь. Ты походи еще, научись как следует. Или хочешь, я ему сам надаю?

— Нет, я больше не хочу с ним драться. Я теперь мириться хочу. Знаешь, как без него скучно.

— Ну так помирись, чего же ты?

— А я не умею. Ты не знаешь, нет такого кружка, где учат мириться?

— Какой еще кружок. Помирись, и все тут.

— А как? Вот смотри, я ему записку написал.

Глеб взял записку и прочел:

«Женька, если ты будешь дразниться, я тебе еще не так дам».

— Ну что, по-моему, все правильно. Только «дразниться» с мягким знаком.

— Да, правильно. А ты посмотри ответ.

На обороте было написано:

«Я тебе сам дам».

— Видал, — сказал Сенька. — Вот и мирись с такими.

Зенуков, Басманцев и Косминский назывались директорами картины и в пять часов должны были собраться в школьной фотолаборатории, чтобы проявлять первые пленки.

Глеб пришел в школу раньше всех. Была вторая смена, шел урок, и по тихому коридору две девочки несли в кабинет физики ведро снега. Было совершенно непонятно, где они могли его накопать, если на улице уже настоящая весна.

Дина Борисовна вошла сразу же вслед за Глебом и сказала:

— Здравствуй, Глеб. Какой-то ты сегодня высокий.

— Да нет, это еще что, — скромно ответил Глеб. — Вот вчера я был, так это да. Дина Борисовна, а вы знаете английский язык?

— Не очень хорошо, но читать могу. А что?

— Да нет, это я так.

— Нет, ты не думай, — сказала Дина Борисовна, будто оправдываясь. — Я и писать умею, только не очень быстро и с ошибками.

— Да что вы, я понимаю.

Когда пришли остальные, Дина Борисовна начала показывать, как нужно готовить проявители, как вставлять пленку в бачок и потом вынимать, чтобы не повредить эмульсию.

Ребята изо всех сил старались ничего не упустить и не испортить, потому что это даже невозможно было себе представить — кто-то мучился, думал несколько дней, что ему больше всего нравится, наконец придумал, снял, и вдруг — раз! — они испортят, и весь труд пропадет даром. Глебу нужно было приготовить 500 кубических сантиметров воды, и он то отливал, то доливал, то ему казалось, что мензурка стоит криво, то вода была не очень чистая; и все его ждали, пока, наконец, Дина Борисовна не сказала, что такая точность здесь, наверно, не нужна.

Когда зарядили первый бачок и зажгли свет, вдруг пришел Сергиякович.

— Слышал, слышал, — сказал он Дине Борисовне. — Это вы очень интересно придумали — кино! Молодцом. А о чем будет фильм, уже решили?

— Это пока секрет, — ответила Дина Борисовна. — Мы закончим к празднику и тогда покажем.

— Ну, раз секрет, тогда молчу. Но все равно, очень рад за вас. Я уверен, что у вас все получится. А это что, помощники?

— Да, дирекция.

— Ну давайте, дирекция, работайте как следует, чтоб мне на вас не жаловались. А не то смотрите у меня.

Как только он ушел, Глеб вылил воду из мензурки и отошел к окну. Косминский немного подумал и ушел за ним.

— Вы чего? — спросила Дина Борисовна.

— Так. Расхотелось чего-то, — ответил Глеб.

— Нам и так интересно, правда, Глеб, — сказал Косминский, — а он грозит. Будто нас заставляют, а мы не хотим.

— Да это он совсем не вам сказал. Это он обо мне так заботится, хочет мне помочь. По-моему, он очень внимательный.

— Да, об отстающих он всегда заботится. Если у кого двойка или с поведением плохо, или задавили, он всегда и поговорит, и про домашние условия расспросит, а так...

— Ну ладно вам, — сказал Басманцев. — Подумаешь, какие чувствительные. Идите лучше смотреть, как получилось, — пора вынимать.

Первые пленки вышли отлично. Кадрики были очень маленькие, и еще невозможно было понять, что на них снято, но, все равно Дина Борисовна сказала, что хорошо и съемка «качественная». Когда расходились домой, Глеб вдруг оста-

вил ребят и побежал за Диной Борисовной.

— Дина Борисовна, — сказал он, догоняя и протягивая ей конверт, — переведите мне, пожалуйста, письмо.

— Так вот в чем дело. Вот зачем ты спрашивал. Ну хорошо, только давай где-нибудь сядем.

Рядом как раз была зубо врачебная поликлиника, и они вошли туда и сели в кресла для ожидающих. Дина Борисовна, быстро двигая взад-вперед ресницами, пробежала первые строчки, потом отвернулась от Глеба и продолжала читать так, чтобы он не видел ее лица. Глеб сидел тихо, зажав руки между колен, и ему было страшно, будто он и в самом деле пришел к зубному врачу. Дина Борисовна, видимо, уже кончила читать, но все сидела и о чем-то думала. Наконец она обернулась и сказала:

— Знаешь, Глеб, я не буду переводить тебе это письмо. Сейчас мне трудно объяснить почему, но позже ты сам поймешь, что лучше прочесть его самому — иначе все пропадет. Одно могу тебе сказать: это очень хорошее письмо. Стоит выучить английский язык, только чтобы прочесть его. Я тебе даже завидую, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Глеб, хотя ничего не понимал и только чувствовал, что все ужасно хорошо и интересно.

— Понимаю! — крикнул он еще раз, уже в дверях. — Конечно, я его выучу, этот английский, вот увидите!

ДОЖДЬ



рисовной пошли по залам музея.

В музее над кассами прямо из стены выглядывали борода-

В воскресенье договорились двумя классами идти в музей, а Глеб опоздал. Он не проспал, и ничего не случилось с ним такого, что могло бы ему помешать, и все равно он опоздал. Сначала времени было очень много — целый час, потом опять много — сорок минут, а потом оно вдруг начало быстро-быстро куда-то исчезать; его еле хватило, чтобы начистить ботинки; и когда Глеб выбежал из дому, уже оставалось только десять минут; а когда сел в троллейбус, время кончилось и ребята вслед за Диной Бо-

тые головы с пустыми глазами. Глеб купил себе самый дешевый билет — для учащихся, солдат и пенсионеров, обернулся и вдруг слева, около квадратной колонны увидел Семенову.

Да нет, это действительно была Семенова.

— Здравствуй, — сказал Глеб. — Ты что здесь? А остальные?

— Они уже ушли, — сказала Семенова.

— А ты почему не пошла?

— А я тут забыла одну вещь... в пальто. У меня в пальто путеводитель.

— Путеводитель? Хочешь, я его достану? Давай сюда номерок.

— Нет, подожди... В пальто его, кажется, нет. Наверно, я его оставила дома.

— Ну все равно, идем без путеводителя. Может, мы их еще догоним.

Они поднялись по мраморной лестнице и вошли в большой зал, из которого во все стороны расходились экскурсии.

— Куда же теперь? — спросила Семенова. — Без путеводителя я не знаю.

— Пойдем просто так. Нужно туда, где картины. Я помню, Дина Борисовна говорила, что будем смотреть картины.

Но картины были всюду. На стенах и потолках, квадратные и круглые, маленькие и огромные, такие, которые даже трудно себе представить, как были написаны — или художник имел очень длинные кисти, или ему приходилось класть холст на пол и ходить по нему, постепенно закрашивая свои следы. У некоторых картин останавливались экскурсоводы и подробно объясняли толпящимся зрителям художественные достоинства и кого хотел разоблачить художник в своем произведении.

Глеб взял Семенову за руку и уверенно пошел по длинной галерее, будто он, наконец, вспомнил, куда нужно идти. В галерее стояли рыцарские доспехи, и под ними было написано, что все они из XIII века.

— Это когда Роджер Бэкон, — сказал Глеб. — Слышала про Бэкона?

— Нет, не слышала. Ты меня уже второй раз спрашиваешь, а я не виновата, если нам не рассказывали. Зато ты не знаешь, как зовут Гулливера.

— Так и зовут — Гулливер. Как же еще? В стране лилипутов.

— Эх ты, читал, а не знаешь. Это фамилия Гулливер, а зовут его Лемюэль. Все читали, а никто не помнит.

— Я давно читал, — сказал Глеб, но все равно ему стало стыдно, что он забыл.

Рядом с доспехами в специальных витринах под стеклом помещались старинные пистолеты, шляпы с перьями, а в одной даже лежал карандаш, весь изгрызенный великим полководцем. За рыцарями снова пошли картины, и около одной Семенова вдруг остановилась и положила руки себе на плечи — крест-накрест, словно ей стало холодно.

— Как мне нравится! — сказала она.

На картине была нарисована очень плохая погода, а снизу на табличке написано «Дожди» и еще ниже что-то не по-русски.

— А это что? — спросил Глеб.

— Это то же самое — дожди, только по-английски.

— А ты знаешь английский?

Глеб спросил и тут же сам испугался — вдруг она скажет, что знает, и тогда нужно будет спрашивать уже и дальше — про письмо и про все остальное, про что и думать-то не получалось, не то что сказать словами.

— Нет, — сказала Семенова и ужасно покраснела. — Это я так просто догадалась. Может, это совсем другое.

— Ясное дело, откуда же тебе знать, — сказал Глеб и тоже покраснел. — Мы же учим немецкий.

Дальше они пошли молча и теперь уже часто останавливались у картин, которые им нравились. Больше всего они простояли у картины с японцем. Она была просто невероятно до чего красива, хотя ничего особенного там не происходило — просто сидит японец и думает свои японские мысли.

— Все-таки жалко, что мы не нашли остальных, — сказал Глеб, когда они выходили из музея. — Дина Борисовна бы нам все рассказала. Знаешь, как она рассказывает. Она ужасно переживает за всех людей, даже за тех, которых не знает, даже из тринадцатого века. Ее очень интересно слушать — сам начинаешь за все переживать.

— Да, — сказала Семенова, — и у нас сосед такой же. Пирогов. Он вчера читал какую-то книгу и все вскрикивал. Я посмотрела — там про туземцев на острове Пасхи. Ведь он уже старый и никогда на этот остров не поедет — какое ему дело, а вот читает и вскрикивает. Его тоже интересно слушать.

— Да, бывают такие.

Они стояли на верхних ступеньках и щурились, привыкая к солнцу на улице.

Внизу гулял детский сад.

Напротив, рядом с магазином, продавали капусту, такую фиолетовую, будто она плавала в чернилах. Потом из подворотни выехал грузовик и понесся по улице, а проволочные ящики для бутылок бились в его кузове и звенели хуже будильников. Когда он проехал, стало слышно, что в небе гудит самолет, и дети внизу задрали головы и так, глядя в небо, побрели кто куда, волоча ноги и тыкаясь в прохожих.

— Ну что, — сказал Глеб. — Пора домой.

— Нет, — быстро сказала Семенова. — Видишь, сейчас будет дождь. Надо его переждать.

— Откуда же дождь?

— Конечно, будет. Давай забежим в тир. Это совсем рядом, здесь за углом.

Они пришли в тир и выстрелили каждый по пять раз. Глеб целился очень долго, но попал только в самое легкое — в гуся. Зато Семенова попала все пять раз. Стреляла она здорово, — теперь понятно, почему ей понадобилось идти в тир.

— Ну все, — сказала она, выходя. — Теперь можно и домой.

— Нет, — сказал Глеб, — дождь ведь еще не прошел. Сейчас только начнется. Нужно где-нибудь спрятаться.

— А где?

— Давай в кино, в хронику. У меня еще есть рубль.

В хронике контролеры были отменены — стоял ящик для билетов, а рядом с ним сидела белая кошка с грязным носом и следила за входившими недоверчивыми глазами.

Когда Глеб и Семенова сели на свои места, свет уже начал гаснуть и последние зрители перебегали по проходу, пригнувшись, как разведчики.

— Семенова, — тихо спросил Глеб, — ты правда не знаешь английского?

— Немножко знаю, — прошептала Семенова.

— Я тогда тоже выучу, ладно?

— Ладно, — сказала Семенова.

Им вдруг стало очень весело. На экране еще не было ничего смешного, а они все равно смеялись и не могли удержаться. Даже когда показывали аварию самолета в Бразилии и наводнение в Голландии (вечно у них там что-нибудь

случается), они все чему-то улыбались. Хорошо еще, что никто не заметил, а то бы начали говорить: какие бессердечные дети, и вот растишь их, растишь, а они все равно такие бессердечные. И, выходя на улицу, они так хохотали, что некоторые прохожие сворачивали и шли в кино — думали, что это показывают такую смешную хронику.

— Ну сейчас и польет! — сквозь смех сказал Глеб. — Ну и запустит.

— Ага, на меня уже капает. Где же мой новый зонтик?

— А вон стоит — видишь, под ним уже продают газировку.

— Ну да, это мой зонтик. Слышите, сейчас же отдайте!

От смеха они не могли стоять и перебирали ногами на месте.

— Ну, бежим прятаться!

— Бежим!

И они побежали в библиотеку, посмотрели там новые книги и журналы; потом в пыточной пили чай с ватрушками; потом ходили по магазинам и делали друг другу дорогие подарки; потом шли домой через мост, и Семенова хотела смотреть на воду, а Глеб ей не давал, тогда она убежала на другую сторону, и так они шли, каждый глядя на свою воду, иногда переглядываясь и смеясь, и домой пришли уже в настоящей темноте, а дождя так и не было.

СНИМАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ



На экране ясно были видны стоящие и идущие ноги, и перед ними прямо из земли вырывался огонь.

— Ну, это я знаю кто, — сказал Глеб. — Это Бурлыгин. Ему нравится, когда горит. Он и сам вечно что-нибудь жжет.

— Ага, чудак какой-то — зажжет спичку и смотрит. Поджигатель.

— Не надо было ему и пленку давать — зря только испортил, — сказал Басманцев.

Они сидели в кабинете физики и на маленьком экранчике просматривали уже готовые кадры. Дина Борисовна записывала в тетрадку, что снято на каждом куске, чтобы потом все собрать и обдумать.

можно ли скленть из них фильм. Пока это казалось совершенно невозможным — такие разные вещи нравились ученикам 6-го «б» класса. На одной пленке, например, были сняты поливальные машины, на другой — звери в зоопарке и орел с расставленными лапами, будто в штанишках; на третьей — какой-то неизвестный старик с морщинками на лбу. У него были такие замечательные морщины, и он так ловко ими двигал, что получались отдельные буквы и даже некоторые слова. На многих пленках было вообще не понять что — метались какие-то смутные тени, и по всему экрану вспыхивали белые пятна. Четыре человека сняли саму Дину Борисовну: в школьном коридоре, на улице, в музее и даже около ее института, рядом с бородатым студентом. На ней было накинуто пальто, а студент шел рядом, держась за пустой рукав, прижимал его к груди и что-то говорил, близко смеясь и заглядывая ей в лицо. Глебу стало неловко смотреть на них вот так вместе со всеми и в то же время хотелось, чтобы показали и дальше, когда они начнут целоваться и откидывать волосы с лица друг друга, как это всегда показывают в настоящем кино. В темноте нельзя было понять, сердится Дина Борисовна или смеется, или просто вспоминает, где они так ходили и что он ей говорил в тот раз.

— А это еще что такое? — спросила она, когда появились перевернутые деревья. Они были очень хорошо сняты: можно было рассмотреть даже почки и капельки воды на ветках — очень красивые деревья, только перевернутые вверх ногами.

— Это, наверно, Толян, — сказал Глеб. — Я так и думал, что он все сделает назло. Но зато здорово снято — лучше всех.

— Кому же это назло? — спросила Дина Борисовна. — Неужели мне? За что?

— Да нет, не вам, конечно. Это он всегда такой — что-нибудь назло. «Я, — говорит, — страшно зол, не пойму только, на кого. Вот когда пойму, тогда уж я ему, — говорит, — покажу, а пока это все так, шуточки».

Дина Борисовна включила свет и прочла названия всех кусков, которые были сняты.

— Ну и наснимали, — сказал Басманцев. — Как же мы все это склеим? Может, по алфавиту?

— Нет, давайте так, — сказала Дина Борисовна, — будто кто-то ходит по городу — и вот что он видит.

— А кто?

— Пуговица, — сказал Косминский. — У пуговицы четыре глаза, и она все видит.

— Какая еще пуговица?

— На пальто. Я сегодня пришивал на пальто новую пуговицу и подумал: «Вот новая пуговица; еще ничего на свете не видала, то-то удивится на улице».

— Да-да, — сказала Дина Борисовна. — Пуговица смотрела-смотрела, и было столько впечатлений, что она чуть не оторвалась к концу дня и еле висела на одной нитке.

— Тогда и деревья опрокинутые можно. Будто пуговицу повертели, и она увидела все вверх ногами.

Начать решили с пустых утренних трамваев, которые снял со своего балкона Дергачев; и потом поливалки на улице, и школа — все отлично приклеивалось одно к другому. Глеб обрадовался этому, наверно, больше всех — ему до сих пор казалось, что опять у них все сорвется и, главное, у Дины Борисовны, а теперь он был так рад и горд — будто он сам придумал такой замечательный сюжет.

— Какой фильм получится — просто прелесть, — зажмурясь, сказала Дина Борисовна. — Только бы успеть, а то времени у нас всего ничего.

Глебу дали резать пленку, Косминский писал названия и прицеплял их к каждому кусочку, а Басманцев все склеивал в таком порядке, как говорила Дина Борисовна. Пока они работали, пришел еще Дергачев и попросился помогать, но ему не дали.

— Дина Борисовна, — сказал он. — Вот я прочел эту книгу. Спасибо.

— Ну что, понравилось тебе?

— Да, очень понравилось. Я ее за три дня прочел — не мог оторваться. Так интересно, и переживаешь здорово, а кого нужно убить — непонятно. Все вроде хорошие.

— Вот видишь, вот видишь, — сказала Дина Борисовна.

— Да, вижу. Только я еще хотел вам сказать — можно?

— Ну конечно, давай. Выкладывай все свои мысли.

— Нет, я уже не мысли. Можно я пересниму свою пленку? Мне сегодня одна вещь больше понравилась — я хочу теперь ее снять вместо трамваев.

— Ну вот, — воскликнула Дина Борисовна, — я так и знала, что кто-нибудь передумает! Разве ты не знаешь, что мы и так опаздываем.

— Знаю, только я быстренько — хоть сейчас. Вы же сами говорили, что нужно самое лучшее.

— Но у тебя такие красивые трамваи, и когда поворачивают, у них солнце бьет из окон. Мы их уже вклеили первым кадром.

— Нет, а есть еще лучше. Я видел.

— Ну хорошо, расскажи, что ты видел.

— Я ехал в автобусе и смотрел через верхнее стекло — мне это страшно понравилось. Сначала видны провода и светофоры, а выше дома — все дома нашей улицы, а я их не мог узнать, будто попал в другой город. Можно, я вот так сниму — через верхнее стекло.

— Да они закопченные всегда, — сказал Глеб. — Через них ничего не видно. Разве только солнечное затмение.

— Нет, бывают и чистые.

— Дина Борисовна, что дальше клеить? — спросил Басманцев.

— Подожди, Федя, тут Дергачев хочет переснимать.

— Да мало ли что он хочет! Работали, работали, и вдруг является. Что ж нам теперь его одного ждать, да?

— А я не один, — сказал Дергачев. — Нас там много. За дверью.

Он подошел к двери, открыл ее, и в кабинет, прячась друг за друга, вошли Свиристелкин, Сумкина и еще несколько человек.

— Ну, — грозно сказал Басманцев, — и вы тоже?

— А я хотела и не виновата, и Глеб тоже видел; мы только приготовились, а потом пришла мама, и Тобика я специально купала, — быстро заговорила Сумкина. — А маму я, конечно, больше люблю, пусть не думают, только она для меня все делает, а я для нее ничего...

— Да подожди ты со своим Тобиком, — сказал Дергачев. — Дина Борисовна, мы же не виноваты, что сначала правилось одно, а теперь уже другое. Можно, мы переделаем?

Дина Борисовна молчала и глядела в сторону, на блестящий шарик прибора, будто хотела рассмотреть положительный заряд внутри него.

— Ну что, смеялись? — прошептал Свиристелкин.

— Когда? — спросил Глеб.

— Когда она с бородатым. Это я снимал.

— Так это ты. Да, здорово смеялись. Прямо катались от смеха.

— И вот опять я чего-то не додумала, — сказала Дина Борисовна. — Конечно, с каждым днем вам будут нравиться все новые и новые вещи — с этим уже ничего не поделаешь. Вот сейчас я вам разрешу, а завтра вы опять придете и скажете, что вам еще что-то понравилось, что тогда?

— Нет, мы не придем.

— Нам больше уже ничего не понравится.

— Ничего в жизни? Плохо тогда вам придется.

— Ну не в жизни, а еще не скоро.

— Разрешите нам, Дина Борисовна.

— Слишком много всего оказалось, — сказал Дергачев. — Я бы только снимал и снимал.

— Ну хорошо, — сказала Дина Борисовна. — Я разрешаю, только это уже пойдет в следующий фильм.

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК



Непонятно было, откуда все узнали, что будет контрольный урок для Дины Борисовны, — сама она никого не предупреждала. К этому уроку готовились два дня, повторили все старые параграфы, а новые заучили почти наизусть. Басманцев даже предложил мелко-мелко написать на картах трудные даты, фамилии и порядковые номера королей, а Косминский принес с собой толстенный том, под названием «История царской тюрьмы» — вдруг спросят про тюрьмы, тогда и пригодится.

Дина Борисовна пришла такая же, как и в первый раз, — черная и с белым воротником. За ней вошли Татьяна Васильевна и еще одна неизвестная учительница или кто — очень тонкая, в зеленом пиджаке со значком на отвороте и чем-то похожая на немецкого офицера из кинофильма. Они сели на заднюю парту, немного пошептались и начали озабоченно оглядывать весь класс, словно кого-то искали.

Первым Дина Борисовна вызвала Косминского. Она пыталась сделать вид, будто ей безразлично все, что происходит, и от этого сразу становилось ясно, как она волнуется, — раньше у нее не бывало такого безразличного вида.

Косминский отвечал сначала хорошо, но под конец начал пугать Яна Гуса и Яна Жижку: то у него Яна Гуса сожгли, то он вдруг опять ожил и повел своих гуситов против немцев — ничего нельзя было понять; а Дина Борисовна его все неправляла. Глеб исподтишка махал ему рукой и закрывал пальцами один глаз, чтобы напомнить про Яна Жижку, потом оглянулся и увидел, как учительница со значком что-то пишет у себя в блокноте, а Татьяна Васильевна шепчет ей на ухо и тоже пишет.

«Эх, Косминский, — подумал Глеб, — ну что ты наделал! Ох, я тебе и дам же после урока».

В это время Косминский кончил, и Дина Борисовна сказала:

— Ну молодец, отлично. Только я немного не поняла, — кто же был полководцем гуситов?

Косминский удивленно посмотрел на нее, потом глаза у него вдруг начали расширяться — видно, он вспомнил — и заорал:

— Да нет же, нет! Это Ян Жижка, Дина Борисовна, Ян Жижка был полководцем!

— Ну хорошо, я так и поняла, что ты оговорился. Конечно, Ян Жижка.

Но Косминский никак не мог успокоиться и, садясь на место, все стучал себя по лбу и бормотал:

— Я же знал, что Ян Жижка, одноглазый такой, железный слепец.

Потом вызывали еще двоих, и они получили тоже пятерки. Дина Борисовна, видимо, немного успокоилась и новый материал начала вовремя. Она говорила медленно, стараясь не увлекаться, и, по правде сказать, это было не так интересно, как тогда, на первом уроке про Роджера Бэкона.

«Уж если тогда поставили пару, что же будет теперь», — подумал Глеб.

Он опять оглянулся на учительницу со значком, но ничего не мог понять по ее лицу. В классе было очень тихо, все внимательно слушали, только Косминский время от времени переживал и качал головой. Некоторые держали на парте открытые учебники, будто собирались подсказывать Дине Борисовне, если она что-нибудь забудет или неправильно назовет дату. Когда урок кончился, Татьяна Васильевна и незнакомая учительница сразу вышли из класса, а Дина Борисовна немного задержалась; но все почему-то ис-

пуганно молчали; и так она дошла до двери среди полного молчания — словно произошел несчастный случай или кто-то умер.

Глеб выглянул в коридор и увидел, как они все трое вошли в кабинет Сергияковлича.

— Кто со мной, айда! — закричал он и побежал вниз по лестнице, а за ним побежали еще несколько человек. Они выскочили на улицу и окружили телефонную будку, из которой звонили уже несколько раз, когда нужно было узнать, что происходит в кабинете.

— Слушаю, — сказал в трубке Сергияковлич.

— Не откажите в любезности, — сказал Глеб настоящим басом — ни у кого в классе так не получалось. — Попросите, пожалуйста, к телефону Андрея Афанасьевича.

Андрей Афанасьевич как раз должен был находиться в другом конце школы, и, пока его найдут, пока он дойдет до кабинета, трубка будет лежать рядом с телефоном — и все будет слышно.

— Хорошо, — сказал Сергияковлич. — Сейчас я кого-нибудь пошлю.

Трубка громко стукнулась о стекло на столе, и сразу же Глеб услышал голос Татьяны Васильевны.

— ...И методически это было не совсем верно, — говорила она. — Я бы обязательно сделала в этом месте нажим, как вы думаете?

— Пожалуй, — сказала незнакомая учительница. — Но тут еще другое. Мне показалось, что дети у вас очень запуганные, — никто не перешептывался, не вертелся, и потом этот мальчик, как он испугался, когда ошибся. Не надо было их так запугивать.

— Во дает! — прошептал Глеб. — Говорит, что мы запуганные.

— Ну, а в общем-то как, в общем? — спросил Сергияковлич.

— По-моему, вполне можно поставить четверку, — сказала незнакомая учительница.

— Конечно, конечно четверку, никак не меньше.

Глеб поднял четыре пальца и тут же быстро прикрыл ладонью трубку, чтобы на том конце не услышали, как закричал и радостно засвистел около телефонной будки.

— Ну, поздравляю, поздравляю вас, — говорил Сергияковлич. — Я был уверен, что у вас все будет в порядке. Не

надо только бояться. Вот и прекрасно, я очень рад за вас. А вы сами рады? Довольны?

— Да, конечно, — сказала Дина Борисовна, но голос у нее был не очень веселый. — Я вам очень благодарна, вы так за меня болели все время. Только знаете, сегодня я почувствовала одну неприятную вещь. Может, это покажется странным, но мне было стыдно ставить им отметки, — будто раздаешь какие-то призы.

— Да, это действительно странно. Как же можно без отметок.

— Нет, я, конечно, понимаю, что без них, наверно, нельзя, но вот у меня было такое чувство. И потом, кажется, я не очень хорошо рассказывала.

— Нет, рассказывали вы неплохо. Только вот дети — они очень запуганные, — повторила учительница со значком.

— Да никакие мы не запуганные! — закричал Глеб.

— Что вы сказали? — спросил Сергияковлич, поднимая трубку. — А вот как раз и Андрей Афанасьевич.

— Не надо нам Андрея Афанасьевича. Никакие мы не запуганные.

— Ах... это вы.

— Да, это мы. Мы не запуганные! Мы исторические, вот чакне! — крикнул Глеб своим настоящим голосом и повесил трубку.





ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕ ПУСТИЛИ В СИВЕРСКУЮ

Когда я вернулся из школы, мамы еще не было, и я сначала обрадовался, но не очень, потому что все равно ведь, подумал я, она скоро вернется и все узнает.

Мне было так плохо, что я даже забыл посмотреть из окна, как летит снег, вверх или вниз, а сел на стол и начал раскачиваться взад и вперед, хотя ничего такого уж страшного не произошло, и троек я получил меньше, чем Фимка, и по поведению тоже было хорошо, и даже были две пятерки — по истории и по географии. Некоторые прямо завидовали мне, но это, конечно, неважно, потому что мама скажет, что ей совершенно безразлично, как кончает четверть какой-то Фимка или всякий другой ученик нашей школы. Она возьмет табель, наденет очки и начнет водить ногтем по отметкам, а потом придет в ужас. Но не сразу за все, а будет приходить в ужас за каждую тройку в отдельности, а это будет гораздо дольше, чем если бы за все сразу и хуже всего, если под конец она скажет, что не пустит меня на каникулы к Вадик в Сиверскую. Это будет настоящая гибель. Уже три месяца я думал, как поеду в Сиверскую; а вчера еще от Вадика пришло письмо, и после письма мне уж просто невозможно до чего захотелось к нему поехать.

Я достал из-под книг это письмо и прочел его еще раз.

«Здравствуй, Саша! — писал Вадик. — Теперь уж ты обязательно к нам приезжай, потому что папа уехал на полгода и мы с Танькой остались совсем одни, как я давно мечтал, и тетя хотела жить у нас, а папа сказал: «Пусть поживут сами, а ты их покорми и больше не вмешивайся». То есть он не так сказал, а подлиннее, как они умеют, чтобы не было обидно, и тетя согласилась. Мы теперь все делаем сами, так что ты обязательно приезжай на каникулы. Я подметаю и колю дрова, и топлю тоже, хоть они такие сырые, что из них уже растут грибы, а Танька ходит в магазин и вообще все зашивает, но у нее еще не совсем получается, потому что она мне пришивала пуговицу и зашила карман, и теперь в него ничего не лезет. Я тебя поведу на один трамплин; с него все



падают, и я тоже, а Кадыра один только не падает и страшно воображает, но мы ему еще покажем, так что ты приезжай.

В нашем доме теперь еще живет Володя-электрик. Он очень образованный, потому что каждый день ездит на работу в Ленинград два часа туда и два обратно, и всю дорогу в поезде читает, а это получается по четыре часа каждый день (кроме воскресенья). Мы обязательно к нему ходим, и он даст нам конденсатор для приемника, а остальное у меня уже есть. И он бы нам еще больше помог собрать приемник, только у него родилась дочка, и он теперь все время играет на гитаре, а как перестанет, дочка просыпается и плачет. Так что ты обязательно приезжай.

Жду ответа. Вадим».

Вот какое письмо.

Я еще больше стал раскачиваться, так мне захотелось в Сиверскую. Вадик — это такой гениальный человек, я даже иногда удивляюсь, чего он со мной дружит. Потому что он и на лыжах, и на коньках, и в лесу все знает, и приемник; и все мне объясняет, а я только слушаю, открыв рот, и больше ничего. Он, правда, говорит, что мне интересно рассказывать, но я ему не верю, потому что как же это может быть, что рассказывать интереснее, чем слушать.

Я хотел уже сесте писать ему ответ, но тут услышал, что пришла мама, и едва успел соскочить со стола.

— Ну, здравствуй, — сказала мама. — Как дела?

— Вот, — ответил я и протянул ей табель, чтобы уж поскорее все кончилось и решилось.

Мама открыла табель, потом взяла очки за дужку и потрясла, чтобы они открылись.

— Это что?! — вскрикнула она, когда дошла до первой тройки. У нее был такой испуганный голос, что я даже не понял, о чем это она, и спросил:

— Где?

— Вот, вот здесь. Будто не знаешь. Что это такое, я спрашиваю?

— Ничего, — ответил я осторожно. — У Фимки еще больше троек, и ничего.

Мне в этот раз ужасно не хотелось с ней ссориться, и я больше ничего не стал говорить.

— Меня не интересует твой Фимка, — сказала мама; и я загадал, что если она не хлопнет ладонью по столу, то все обойдется, но она, конечно, хлопнула.

«Конец, — подумал я тогда. — Теперь уже наверняка не пустят».

Мне сделалось так обидно, что я даже наступил себе на ногу незаметно.

Я ведь сам всем рассказывал, как мне хочется в Сиверскую, а мог бы наврать, что не хочется, и тогда, может быть, меня отправили бы туда в наказание, а теперь уж наверняка не отправят.

— Как же ты хочешь стать ученым, — сказала мне мама и снова стала вспоминать все, что я успел натворить за этот год и за прошлый тоже, и как расстроится папа, когда получит письмо с такими отметками. Но тут я уже и слушать дальше не стал, потому что папа говорит, что у него самого образование среднее-заочное, и он поэтому не может вмешиваться в мое воспитание, и что, конечно, хорошо, если я стану ученым, но вообще это еще ничего не значит, потому что ученый тоже может быть негодяем.

Я подумал, что хорошо бы и мне получить заочное образование, такое же, как у Володи-электрика.

— И это ученик пятого класса, — расслышал я вдруг мамин голос, потому что раньше она всегда говорила «ученик четвертого класса», а к «пятому» я еще, наверное, не успел привыкнуть и поэтому расслышал.

— Ни в какую Сиверскую ты не поедешь, — сказала мама.

— Ой! — вскрикнул я.

Я не хотел, а так как-то вырвалось само.

— Вот тебе и «ой». Не поедешь, пока не исправишься.

— Я исправлюсь, — тихо сказал я. — Я обязательно исправлюсь. Только можно я сначала поеду? Мне тогда легче будет исправиться.

— Глупости, — сказала мама. — Я посмотрю еще, как ты кончишь третью четверть, и тогда решу, можно тебе ехать или нет. И все. Больше никаких разговоров.

Я даже ничего не смог ответить, так мне стало плохо. Наверно, я немного еще надеялся и только теперь, когда все пропало, мне стало плохо по-настоящему.

— Я постараюсь, — сказал я наконец и ушел за свой стол.

Я вырвал из тетради чистый листок и стал писать Вадике ответ, потому что я уже заметил, что если тебе плохо, нужно написать об этом в письме, и тогда станет немного легче.

Я НАЧИНАЮ ИСПРАВЛЯТЬСЯ

Когда я дописал письмо, мама включила радио и стала слушать последние известия. В последних известиях всегда говорят по очереди то мужчина, то женщина, и мужчину я очень хорошо представляю, потому что он нарисован в окне парикмахерской в нашем доме, а женщину не представляю и только вижу, что она с косами и меньше ростом, чем микрофон, а больше ничего. Оттого, что я все описал Вадику в письме, мне и вправду стало легче, и я решил, что надо не сидеть сложа руки, а действовать и добиваться своей цели.

— Мама, — сказал я, — можно, я уже сейчас начну исправляться? Может, что-нибудь нужно сделать?

— Хорошо. Сходи, пожалуйста, за хлебом, а то на утро не хватит. И не сутулься так, — добавила она, когда я уже выходил. — Держись прямо.

— Да я забываю все, — сказал я.

— А ты не забывай. Иди и все время думай, что нужно держаться прямо.

Во дворе у нашей парадной стояли двое незнакомых мальчиков и с ними девочка. Я этому ужасно удивился, потому что такого в нашем дворе никогда не бывало; стоят два мальчика и девочка, и мальчики девочку не бьют и не ругают — странно как-то. Ведь их двое, а она одна; и она им ничего не сможет сделать, я знаю, только обидится и уйдет.

«Видно, они не хотят, чтобы она уходила». Я хотел еще немного понаблюдать за ними и тут вдруг заметил, что опять забыл держаться прямо. Я быстро набрал воздуха, расправил плечи, как только мог, и вышел на улицу.

Снег сегодня летел вниз, но не очень, потому что начинался ветер, и из-за этого ветра люди шли по улицам без всякого интереса. Я уже заметил, что зимой, особенно по утрам, когда взрослые идут на работу, они совершенно ничего не замечают, и им можно отдавать честь, кланяться, показывать язык, — что хочешь можно делать, а они все равно тебя не заметят; и это бывает очень обидно. Может, они думают о своих делах, а может, просто еще немного спят, я не знаю, и мне некогда было сейчас об этом думать, потому что нужно было исправляться и не сутулиться.



«Нужно держаться прямо-прямо, — думал я, — как столб, а на столбе висят фонари, а в них лампочки; а если лампочки перегорят, их надо заменять; приезжает машина с подъемником, и в ней люди — постучат ключом по перилам, и шофер их поднимает; и я бы тоже так хотел, чтобы меня поднимали, но мне же нельзя сейчас об этом думать — нужно все время думать, как бы не сутулиться».

Больше я уже почти не отвлекался, только раз вспомнил про Сиверскую, и так обошел весь квартал и не остановился даже посмотреть на мальчиков во дворе, а прошел мимо них прямо-прямо и так же прямо вошел в комнату.

— Ну, — сказала мама и заглянула мне за спину.

Я тоже попытался посмотреть, что там такое, и тут только сообразил, что забыл купить хлеб.

«Вот дурак», — подумал я про себя.

— Ну, что же ты, — спросила мама, — забыл?

— Забыл, — ответил я.

— Как же так?

— Не знаю, — сказал я. — Я все время думал, как бы не сутулиться, а про хлеб забыл. Видно, я не могу помнить про все сразу.

— Да, — сказала мама. — Нелегко тебе будет исправляться.

ФИМКА И КНИГИ

Мне и в самом деле было нелегко, но я старался изо всех сил, очень уж мне хотелось в Сиверскую.

В тот день я сначала еще не знал, куда мне пойти. Я сидел на полу и дул нашей кошке в нос из пульверизатора, а кошка хоть и морщилась, но не уходила, потому что тоже, наверное, не знала куда. Я все думал, что от Вадика придет письмо, но газеты уже принесли, а письма не было, и тогда я встал и пошел к Фимке.

Фимка тоже ничего не делал, а просто лежал на диване, но я на всякий случай спросил его, чем он тут занимается.

— Так, ничем, — ответил Фимка, — мысли думаю.



— Целый день так лежит, — сказала Фимкина сестра. — Хоть бы книжки убрал со стола.

— Отстань, — сказал ей Фимка. — Не приставай к человеку.

Он со своими всегда так разговаривает, потому что ему не хочется ни в Сиверскую, никуда, и я ему завидую даже. Ему, по-моему, вообще ничего не хочется, и родители не знают, как его можно наказать, а мои знают, что мне хочется в Сиверскую, и пользуются.

— Вот люди, — сказал Фимка, — ничего не понимают. Я тут книжки читаю, все про ребят. Там про одного пятиклассника, как он и учился неважно, и скромный был, вообще вроде дурачка, и все его недооценивали, а в критическую минуту он себя показал: спас из огня девочку или еще кого, я уже не помню.

— А вот есть такие книги — «Избранное», — сказал я, — это значит — самое лучшее. Я всегда в библиотеке спрашиваю: «Дайте мне «Избранное». А она меня тоже спрашивает: «Кого?» — «Мне не «кого», — говорю, — мне «Избранное». И она дает, только хохочет ужасно.

— Нет, про критическую минуту лучше, — ответил Фимка. — Я тут много таких книжек прочел, мне они больше всего нравятся. Я вот тоже так живу, — ничего не делаю, и никто меня недооценивает, а придет критическая минута, тогда я всем им докажу.

— Ничего ты не докажешь, — сказала Фимкина сестра и вставила себе в рот какие-то булавки. — Ты и в магазин никогда не ходишь, и посуду не моешь.

— А ты моешь?!

— Мою!

— А если будет война, кто пойдет на фронт, я или ты, а?

Сестра ничего ему не ответила, только пожевала свои булавки и отошла к зеркалу.

— То-то, — сказал Фимка. — Они с мамой этого вопроса больше всего боятся. Мама раньше даже плакала, а теперь только махнет рукой, и все.

Мне не хотелось слушать, как они совсем поругаются, и я сказал Фимке, что хватит ему валяться на диване, а надо идти на улицу, потому что каникулы последний день, и нужно что-нибудь придумать.

Мы вышли на улицу, но все равно ничего не могли придумать и долго шли просто так, и снег тоже падал еле-еле,

а иногда совсем переставал. Потом проехал трамвай с косыми сосульками по краям, и Фимка сказал, что хорошо бы прокатиться, но, кажется, ему не очень хотелось.

— Это что — трамвай, — сказал я. — А вот есть такой автобус — междугородний.

— Длинный? — спросил Фимка.

— Ага, длинный. И еще спинки у сидений откидываются — как кровать. Интересно, можно на нем доехать в Сиверскую?

— Не знаю, — ответил Фимка. — В Сиверскую, наверное, нельзя. А хочешь, айда на вечер.

— Нет, — сказал я сразу. — Не хочу.

Я знал, что сегодня у девятиклассников вечер, и мне ужасно хотелось пойти посмотреть, потому что я думал увидеть там одну девочку, Стеллу из 9-го «б», но я нарочно сказал, будто не хочу.

— Пойдем, — стал уговаривать меня Фимка. — Все равно уже ни в кино не попасть, никуда. А там у них даже джаз играет, танцуют, и ребята с девчонками тоже танцуют — умора.

— Ну ладно, — сказал я. Я боялся, что Фимка перестанет меня уговаривать, а мне страшно хотелось пойти и посмотреть на эту Стеллу из 9-го «б» и вообще на все, потому что я еще никогда не видел вечера, если только не считать одного раза, и то не прямо, а через окно.

НА ВЕЧЕРЕ

Когда мы подошли к школе, там у входа уже стояла целая толпа безбилетников из других школ, и все они громко кричали, чтобы их тоже пустили на вечер, потому что каникулы последний день и всем охота, а в дверях стояли наши дежурные и никого не пускали.

— Нам не жалко, но и так уж в зале не повернуться, а вы лезете, — говорили они и никого не пускали.

С ними еще был Цыпин из 9-го «а»; мы его знали, потому



что он лучший баскетболист в школе, и его знают даже первоклассники.

— Цыпин, Цыпин! — закричал Фимка, и мы стали пробираться к дверям. — Пустите нас, нам на дополнительные надо к Антонине Сергеевне.

— Какие еще дополнительные? — сказал Цыпин, но все же вытащил нас из толпы и пропустил между дежурными. А безбилетники закричали еще громче, что им тоже на дополнительные, и из-за нас чуть не вышла драка, но дежурные все были из одного класса и товарищи, а безбилетники друг друга даже не знали, и поэтому драки не произошло.

В школе мы с Фимкой сразу же пробежали на черный ход, оставили там под лестницей свои пальто и пошли к той двери в зал, через которую выходят на сцену. К этой двери перед танцами всегда сваливают стулья; и теперь тоже, как только мы ее открыли, стулья сначала посыпались в коридор, а потом застряли, и мы полезли между ними в какую-то щель вроде пещеры.

Мы долго ползли под этими стульями и, наверно, страшно гремели, но музыка играла еще громче, так что все равно никто ничего не слышал. Мы ползли, ползли, и я уже начал думать, что мы заблудились, но тут вдруг увидел прямо перед собой ноги в черных полуботинках и за ними весь зал. Ноги поднимались на каблуках и топали в такт музыке, а в зале стояли прислоненные к стенам мальчики и девочки из старших классов, и еще больше их танцевало в середине, около елки.

Мы с Фимкой поудобнее спрятались за стульями и стали толкаться и зажимать друг другу рты, потому что можно было помереть со смеху, глядя, как они там танцуют.

— Не понимаю, чего они в этом находят, — сказал я Фимке. Но тут вдруг погас свет, а на балконе загорелись цветные прожекторы и начали шарить взад-вперед по залу. На край сцены вышел оркестрант в белой рубашке и с саксофоном, и оркестр заиграл новый танец.

Может, оттого, что я никогда еще не слышал такой музыки и не видел танцев с цветными прожекторами, и оттого, что в зале так замечательно пахло, даже лучше, чем в театре, мне вдруг все это начало нравиться. Не то чтобы мне стало понятно, что они в этом находят, а просто было хорошо так сидеть за стульями и слушать, потому что, когда играет му-

зыка и в зале танцуют разноцветные люди, все хорошее должно случиться само собой. Особенно мне нравился оркестрант в белой рубашке, потому что ему было не все равно, и он то махал саксофоном перед собой, то отводил его назад, почти до подмышки, то еще что-нибудь, а в зале все топтались вокруг елки; и хоть со стороны ничего нельзя было разобрать, кроме толпы, но, наверно, каждому казалось, что он танцует, а это, конечно, самое главное.

Я посмотрел на Фимку и увидел, что ему тоже нравится, хотя обычно он такой человек, что ему все не так и ничего неохота.

Когда зажегся свет, я сначала ничего не мог разобрать, а, открыв глаза, вдруг увидел у самой сцены эту Стеллу из 9-го «б».

Я так испугался, что мне сразу стало больно под коленками, как это было со мной всегда, когда я ее видел. Стояло мне увидеть ее, хоть издали, хоть совсем рядом, мне сразу делалось больно под коленками, и это продолжалось до тех пор, пока она не начинала куда-нибудь торопиться или с кем-нибудь разговаривать, вообще суетиться на одном месте. Пока она стояла спокойно, я ее боялся, но стоило ей побежать или засмеяться, у меня моментально все проходило.

Вот и сейчас, пока она стояла так близко и смотрела на оркестрантов, как они уходили со сцены покурить, я ее ужасно боялся, но потом к ней подошла Фимкина сестра и зашептала что-то на ухо, она засмеялась, и у меня сразу же все прошло. Я даже рассердился на нее за это, а они с Фимкиной сестрой взяли за руки и убежали в другой конец зала.

Там, под бумажными сосульками, как раз начинались всякие аттракционы и соревнования, и я надеялся, что она хоть не станет вмешиваться, а просто посмотрит, и все; но она сразу же вошла в самую середину и взяла в руки конец бечевки, а другой конец взял Цыпин, и они начали наматывать эту бечевку на катушки, кто скорее, и, конечно, Цыпин намотал скорее и победил.

— Номер, номер! — закричали все. — Стелла, номер!

Я понял, что в наказание она должна исполнить какой-нибудь номер, и разозлился ужасно.

«Зачем она вмешивается во все, — думал я тогда. — Лучше бы стояла и смотрела спокойно, чем так выставляться».

А она совсем не стеснялась выставляться. Она повернулась ко всем лицом и стала читать стихи.

— Растет камыш среди реки,
Он зелен, прям и тонок.
Я в жизни лучшие деньки
Провел среди девчонок, —

прочла она и вдруг замолчала.

Мне снова стало так страшно, что я даже хотел тут же уползти назад под стулья, но не смог и остался на месте, а она все молчала, и все тоже молчали, и в зале стало тихо-тихо.

А она вдруг начала морщить лоб и двигать бровями, чтобы показать всем, как она старается вспомнить, и этого я уже не мог вынести.

Если бы она стояла спокойно, я бы тоже, наверное, не смог двинуться с места от страха, но когда она начала морщить брови, а в зале было тихо-тихо, меня взяло такое зло, что я не выдержал.

Я выскочил на сцену и что было силы ударил кулаком в барабан.

Это вышло так громко, что дальше я уже ничего не слышал, я сразу бросился обратно под стулья, прополз в коридор, схватил пальто и через черный ход убежал на улицу.

КЕМ МЫ БУДЕМ

На следующий день, идя в школу, я заглянул в почтовый ящик, и там, наконец, лежало письмо от Вадика. Он писал, чтобы я не расстраивался, потому что все равно снег был плохой и на лыжах они почти не катались, а когда я приеду, снег будет гораздо лучше. И еще в письме было одно место про Стеллу, то есть не совсем про нее, но очень похоже, только про Таньку.

«...а Кадыра, — было написано в этом месте, — который прыгает с трамплина, боится моей Таньки и при ней не ругается и не воображает, ни в школе, нигде. Ты зря думаешь, что Танька нам мешает, потому что она,



конечно, не изобретает и ничего такого, но зато она поет и по-французски тоже, и это, помнишь, как Эдита Пьеха: «Та-та-та-ра-ра». И знаешь, вообще, когда она вечером сидит и крутит ручки у телевизора, у нее волосы длинные и просвечивают, это ужасно здорово. Я не могу тебе объяснить почему, но вот увидишь, тебе тоже понравится...»

Мне больше всего понравилось, что этот Кадыра тоже боится какой-то Таньки, а не я один, и ничего плохого в этом нет.

В школе Фимка мне сказал, что я предатель и изменник и что он со мной не будет разговаривать три урока. По-моему, он был совершенно прав, и я не стал с ним спорить, а отсел на другую парту, к Игорю Платонову. Этот Игорь Платонов пришел в наш класс недавно, и мне он сначала не нравился, но это только из-за имени, потому что как раз перед этим я смотрел по телевизору пьесу, где одного инженера тоже звали Игорь, и он сначала казался и умным и образованным, а потом оказался ужасный подлец и негодяй. После этой пьесы я теперь не доверяю образованным людям, да еще если их зовут Игорь, но этот Игорь был не очень образованный, и я скоро с ним подружился, и Фимка тоже.

Так вот, я пересел к Игорю на парту, и мы с ним немного поговорили о каникулах, и я сказал, что меня не пустили в Сиверскую, а он ответил, что это все из-за журнала.

Я уже давно замечал, что он боится нашего классного журнала и, что бы ни случилось, говорит, что виноват журнал, хотя сам он учится хорошо и замечаний у него почти не бывает. Он ни учителей не боится, ни директора, а журнала боится ужасно. Он даже дотрагиваться до него не хочет, и, когда была его очередь дежурить, я сам бегал вместо него в учительскую за журналом. Тогда мне было еще все равно, а теперь я, наверно, от него заразился и тоже стараюсь не дотрагиваться до этого журнала — мало ли что.

Мы с ним весь урок говорили о журналах и о всяких несчастиях, которые от них бывают, а Фимка все дергался впереди и тоже хотел заговорить, но терпел, а когда прозвенел звонок, ему уже стало не утерпеть, и мы с ним помирились.

— Вообще-то зря мы убежали, — сказал он мне. — Все только сначала испугались, а потом как начали хохотать — просто умирали со смеху.

— Так это ты в барабан ударил? — спросил Игорь. — Здорово! Я бы так не смог.

— Да ну, чего вспоминать, — ответил я.

Я о чем угодно поговорил бы с ребятами, лишь бы не о барабане.

— На сбор пойдем? — спросил я их.

— Пойдем, — ответил Фимка, — это интересно, кто кем будет.

— Я своего отца все же не очень уважаю, — сказал Игорь. — Ему уже сорок лет, а он до сих пор не летчик. Он просто директор завода и больше уже никем в своей жизни не станет — ни летчиком, ни моряком, никем. Он сам сказал, что завидует мне, потому что я еще могу стать кем хочу — хоть футболистом, хоть врачом, хоть шофером, а он только директор завода — и все.

Сбор так и назывался: «Кем мы будем».

Началось с того, что наш пионервожатый, Толя Мазин, прочел по бумажке о разных профессиях, и что всякий труд почетен, и еще про что-то, я уже забыл, потому что он читал очень гладко и ничего не запомнилось.

— Ну, а теперь, — сказал он, — пусть каждый скажет, кем бы он хотел стать и почему.

Сначала никто не хотел говорить, потом встали две девочки и сказали, что они хотели бы стать актрисами, а почему — не знают. После них опять все долго молчали, и вдруг встал самый заядлый двоечник Боря Кашленко и сказал такое, что все мы просто покатались.

— Я хочу стать учителем, — сказал он и сразу же сел на место.

Мы так смеялись, что ему даже самому стало смешно.

— Я знаю, — кричал Фимка, — он сам хочет двойки ставить!

Тут Боря снова вскочил и сказал, что он никогда бы не поставил ни одной двойки.

— У меня бы все хорошо учились, — сказал он.

— Нет, у тебя не выйдет учителем, — сказал Толя Мазин и показал на Юрку Десятникова. — Вот у твоего друга выйдет, это можно сказать с уверенностью.

— А я не хочу учителем! — крикнул Юрка.

— Не хочешь? А кем тогда?

— Помещиком, — ответил Юрка и даже не улыбнулся.

Мы прямо под парты полезли от смеха, а он стоит себе и хоть бы что. Юрка — это такой ужасный остряк, но я ему тоже сначала не доверял, потому что он всегда был такой



чистый, причесанный — даже смотреть противно. Раньше, когда я с ним встречался, мне сразу хотелось назло ему чекаться, ругаться, плевать на пол или еще что-нибудь, а теперь я уже к нему привык — и ничего.

Толя Мазин так на него разозлился, даже обругать как следует не сумел, а только сказал:

— Садись, Десятников. Как тебе не стыдно: пионер, называется, а хочешь стать помещиком.

Конечно, зря он рассердился, потому что Юрка так острял, и мы все это видели, а он подумал, что всерьез.

Дальше уже все говорили правильно: что хотят быть врачами, инженерами, летчиками, шоферами. И я тоже хотел сказать, что буду ученым, хотя, если говорить честно, я это не сам придумал, а просто так хочет мама. Я уже совсем собрался это сказать, но вдруг вспомнил папу, как он однажды сказал, что ученый тоже может быть негодяем, и промолчал.

«А вдруг я сам вырасту негодяем, — подумал я. — Вот все говорят: «Буду летчиком, моряком». А я — ученым. Но

ведь когда негодяй маленький, он еще не знает, кем он будет, и никто кругом не знает, а когда он вырастет, он, наверно, все равно не знает, что он негодяй, и думает, что он летчик, моряк или ученый».

Я так расстроился от этих мыслей, что уже не слушал, кто кем будет. Я сидел и думал, что мне ужасно не хочется быть негодяем, а мама хочет, чтобы я исправился и вырос ученым; и уж раз ей так хочется, то пускай, но лучше бы мне быть кем угодно, только так, чтобы уж наверняка не стать негодяем.

БАСКЕТБОЛ

— Смотри не задерживайся нигде после баскетбола, — сказала мама. — Если у тебя и до конца недели все будет хорошо, в воскресенье поедешь в Сиверскую.

Меня от радости даже передернуло всего.

Я даже ничего не смог ответить маме, только стукнул кулаком по столу и убежал. До того был рад — просто обалдел совсем.

Когда я пришел в спортзал, все лучшие места на балконишке были уже заняты, и я с трудом добрался до Фимки и Игоря, так как это была решающая игра на первенство района и все хотели ее посмотреть. Мы трое пристегнулись ремнями к перилам, чтобы никто не мог нас оттащить, а потом только свесились в зал и стали ждать, когда начнется.

— А у нас в квартире ремонт, — сказал Фимка. — Приходи смотреть.

— Не, мне сегодня нельзя, — ответил я. — Меня в Сиверскую не пустят.

Наши всегда играют в черных майках, и теперь тоже, а те были в красных, и, как только началась первая половина, мы сразу поняли, что они играют просто здорово, может быть, даже лучше наших. Если бы не Цыпин и не Толя Мазин, наши бы сразу продули, потому что красные и ростом были выше,



и бегали быстрее, и по кольцу попадали прямо из любых положений. Я сначала даже не понимал, как Цыпин может их перепрыгивать, такие они все были длинные и бросались на него сразу втроем, а он все равно попадал, будто их и не было и никто ему не мешал.

Этот Цыпин — гениальный человек; он, когда прыгает, ужасно долго висит в воздухе. Он подскочит и держит мяч над головой, и они тоже прыгают перед ним и мешают, а он подождет, пока они все упадут обратно, и тогда только кидает.

— Цыпа! — кричали мы. — Цыпа, давай!

Я бы тоже хотел так прыгать, но мне никогда не научиться, потому что я волнуюсь и мажу. Стоит мне только подумать, что я могу не попасть в кольцо, — и тут же я обязательно промажу.

Во второй половине сначала тоже все шло хорошо, но потом вдруг Толя Мазин промахнулся из-под самого щита, и с этого все началось.

С каждым может такое случиться, но он, видно, ужасно расстроился и заволновался. Я же говорил, что, когда волнуешься, ни за что не попасть, а тут еще все начали кричать: «Мазилин! Мазилин!» — и он совсем растерялся.

Как только мяч попадал к нему, он сразу будто вздрагивал, озираясь по сторонам и вертелся до тех пор, пока мяч не вышибали у него из рук. Мне было так жалко Толю, просто до слез, а тут еще все свистели и орали, и Фимка тоже орал, пока я ему не стукнул по шее. Он меня тоже стукнул, но орать перестал, а наши там внизу уже из сил выбивались, потому что Толя им только мешал, и они ему уже старались не пасовать. Все-таки они играли так здорово, что красные смогли их обогнать только на одно очко. И вдруг в самый последний момент, когда красные, наверно, уже считали себя победителями, под их щитом вышла свалка, и судья показал, что Мазин будет бить два штрафных.

Тут все даже орать перестали, и стало тихо-тихо, потому что, если бы он попал хоть один раз, была бы уже ничья, а если бы два, то наша победа.

Фимка даже глаза закрыл от страха, и я тоже хотел зажмуриться, но не успел и увидел, как мяч попрыгал немного по краю кольца и свалился в сторону.

— У-ах! — вздохнули все хором.

Если бы я был на Толином месте, я бы тут же упал без

сознания или еще что-нибудь сделал, но не стал бы кидать второй раз, а он все же кинул и снова промазал.

Тут поднялся такой свист и вой, что я, наверно, даже сам кричал, как мне было его жалко. Я кричал и не заметил, как Толя убежал из зала, а заметив, сразу же отстегнулся от перил и побежал к выходу из школы, чтобы помешать ему, когда он будет бросаться под трамвай.

Я почему-то был уверен, что он бросится под трамвай; и когда он весь еще расстегнутый выскочил из дверей и свернул налево, я сначала не понял зачем, потому что там не было трамвайных путей, а потом вспомнил, что там Нева, и испугался еще больше. Я даже забыл, что не умею плавать, и побежал за ним изо всех сил; а снег летел куда-то вверх и в глаза, и я уже думал, что потеряю его в темноте, но тут мы добежали до Невы, и он пошел шагом.

Пока на набережной были люди, мне было еще не так страшно, но потом мы прошли последнюю скамейку, там еще сидели две девушки в шляпках, как кнопки — красная и белая, а после них далеко-далеко впереди уже не было видно никаких людей, и тут я не выдержал.

— Эй, Толя, — сказал я. — Ты что?!

— А ты что? — он обернулся и пошел прямо на меня. — Тебе чего? Иди отсюда.

— Не пойду, — закричал я. — Ты вон испачкался весь!

Все же я отбежал немного назад, но он вдруг остановился и стал чиститься, хотя я и не видел, где он там испачкался, а кричал просто так — лишь бы не молчать.

— Ладно, — сказал он. — А ты меня что, в зале видел? Я сразу понял, про что он спрашивает.

— Это ерунда, — сказал я ему. — Такое и на международных бывает. Зато сначала ты как играл... Если бы не ты, мы бы еще раньше продули. Ты в одном месте даже лучше Цыпина сыграл.

— Это когда? Когда правым крюком попал?

— Ну да! — закричал я, хоть и не помнил никаких его крюков. — Таким крюком даже Цыпину не попасть.

— Нет, Цыпин все же лучше, — сказал он, но я видел, что он уже немного соображает и не станет теперь прыгать в Неву.

— Я, когда волнуюсь, всегда мажу, — сказал он.

— И я тоже, — ответил я.

— А ты зачем за мной бежал?

— Я думал, ты в Неву бросаться будешь, — сознался я.

— Эх ты, чудака, — сказал он. — Как же в нее бросаться, когда она замерзла.

Только тут я заметил, что Нева действительно замерзла и в нее хоть утюг кидай, все равно не утонет.

«Вот дурак, — подумал я про себя. — Выходит, зря я за ним гонялся. Он и не думал никуда бросаться».

— Который час? — вспомнил я вдруг.

— Половина одиннадцатого.

— Ой! — закричал я и кинулся бежать.

Я бежал и бил себя кулаками по голове от злости, что я такой дурак и зря только проболтался неизвестно зачем, а теперь меня из-за моей же глупости не пустят в Сиверскую, и ведь никто мне не поверит, будто я мог забыть, что Нева зимой замерзает.

УЖАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ

Все же на этот раз мне еще повезло, и мама сказала, что я не очень опоздал, потому что она видела, как я вспотел и запыхался, и поняла, что я торопился изо всех сил. Я так устал, что, расшнуровывая ботинки, все придерживал голову за лоб, чтобы она не выпала; но одной рукой никак не расшнуровывалось, и я был страшно рад, что все обошлось и в воскресенье я поеду в Сиверскую.

Следующий день был пятница, и я целый день в школе думал, как бы мне чего-нибудь не натворить, и не знал еще, что сегодня все и случится.

Первые четыре урока прошли хорошо, а последний урок был история, и я еще на перемене слышал, как Юрка Десятников спрашивал у Бори Кашленко, что он выучил из Древней Греции, потому что они были друзья и Юрка боролся за успеваемость, а Боря ответил, что оба параграфа, и даже рассказал немного про циклопа. Я сам тоже все выучил и даже хотел, чтобы Антонина Сергеевна вызвала меня, но она вызвала Кашленко и велела рассказывать природу и население.



Боря вышел к доске и сразу начал про Одиссея, как он возвращался с Троянской войны:

— И вот Одиссей с друзьями попал в пещеру к одноглазому циклопу, и они все очень обрадовались, потому что в пещере было много сыра и кувшины с простоквашей, а они были страшно голодны...

— Подожди, — перебила его Антонина Сергеевна. — Я тебя спрашиваю о природе и населении, а ты мне про Одиссея.

— О природе? — сказал Боря.

— Да, о природе.

— Природа там была, — начал он, — ...скалистая. Там была... огромная пещера... и в ней жил великан... великан циклоп... с одним глазом посредине лба.

«И дался ему этот циклоп», — подумал я.

— Что же ты, не учил? — спросила Антонина Сергеевна.

— Учил, — ответил Боря. — Я все учил, только про циклопа больше запомнил, потому что ему потом еще глаз выжгли.

— Ну, ладно, садись, — сказала Антонина Сергеевна. — Двойка. На тот же вопрос ответит... Десятников.

Юрка встал, но к доске не пошел, а начал ковырять замазку на окне и вдруг сказал:

— Я тоже этого не учил. Нам не задавали.

— Как же не задавали, — сказала Антонина Сергеевна, — у меня записано. Садись, Десятников, очень плохо. Двойка.

— Ну, началось, — прошептал Фимка.

И вдруг я слышу, вызывают меня.

А я знал, я все знал: и про морские берега, как они изрезаны, и что воды в реках было мало, и про Фермопильский проход; я все учил и запомнил, потому что мне было интересно, хотя про циклопа, конечно, лучше всего, но я тоже встал и сказал, что не учил, потому что не задавали.

— Это что же такое! — воскликнула Антонина Сергеевна. — Это прямо забастовка какая-то. Очень глупо. Глупо и стыдно.

И поставила мне двойку.

Мы и сами понимали, что это нехорошо, но все равно бы теперь уже никто не сознался, и Антонина Сергеевна тоже знала, поэтому она перестала спрашивать природу и население и пошла дальше, а я сел на место и стал думать, что же теперь будет.

«Вот и все, — думал я. — Не видать мне теперь ни Вади-

ка, ни Сиверской, ничего. Видно, никогда мне по-настоящему не исправиться: и в барабан я на вечере стукнул, и после баскетбола опоздал, и сутулюсь по-прежнему, и вот теперь еще двойка. Теперь уже наверняка все».

— Опять этот журнал, — сказал мне Игорь, когда мы выходили из школы. — Все из-за него.

Я шел домой, и снег вокруг меня летел как-то во все стороны, не разбери-поймешь. Мамы еще не было, но на столе лежало письмо от Вадика, и я, даже не раздеваясь, разорвал конверт и начал читать.

«Здравствуй, Саша, — писал Вадик. — Кадыра позвал меня в воскресенье ловить рыбу подо льдом, и я сразу же сел тебе писать, чтобы письмо успело дойти, потому что мне страшно хочется, чтобы ты тоже пошел с нами. Это тот самый Кадыра — помнишь, я тебе писал, — и как раз сегодня, мы с ним подрались, не помню уже из-за чего. Мы с ним так здорово подрались, что из меня до сих пор еще течет кровь, не отовсюду уже, а так, кое-где. Мы, наверное, дрались с ним целый час, и я не удержался потом — позвал его к нам пить чай и помыться, конечно, потому что я ему тоже крепко пару раз попал, хотя он мне все-таки больше. Он сказал, что возьмет нас с Танькой за рыбой, а я спросил про тебя, и он сказал, что можно. Может, тебя отпустят, так ты обязательно приезжай, потому что он сейчас сидит тут и чинит Таньке крепление, а когда кончит, мы начнем делать специальные удочки; и я для тебя тоже сделаю, и лыжи у нас есть лишние, и все. С нами еще пойдет Кадырин отец, он знает, где тонкий лед и нельзя удить, и я для тебя все-все приготовлю, только ты, пожалуйста, приезжай».

С приветом. Вадим».

Когда я дочитал это письмо, мне так захотелось в Сиверскую, что просто нельзя уже было больше терпеть, но тут я вспомнил все, что случилось, и побежал обратно в школу. Я бежал и думал, что если все рассказать Антонине Сергеевне, она исправит мне двойку, и я хоть весь учебник выучу наизусть, только бы меня отпустили, потому что Вадик так меня ждет и все для меня приготовил.

В школе уже была вторая смена, и шел урок, и в коридорах было пусто. Я пошел в учительскую, чтобы спросить, где

сейчас Антонина Сергеевна, но там тоже никого не было, и я уже хотел уйти, но тут вдруг увидел на столе наш классный журнал. Я его сразу узнал по кляксе на обложке, и мне вдруг стало больно под коленками, не знаю даже отчего; но все-таки я подошел к столу и начал листать журнал, пока не дошел до истории и не увидел свою двойку.

Не знаю, что со мной тут сделалось.

Я вдруг сразу вспомнил все-все, что со мной было и как я хотел исправиться, и что теперь уже все кончено, и в голове у меня завертелось. На минуту, наверно, я стал сумасшедшим, потому что вдруг захлопнул журнал, оглянулся кругом и сунул его за портрет Макаренко на стене, а потом убежал и даже не думал, видел меня кто-нибудь или нет.

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ КОНЧАЕТСЯ

Когда я пришел на следующий день в школу, все уже знали, что пропал журнал, и была паника. Все галдели и кричали друг на друга, и больше всех кричали отличники, а Фимка сидел верхом на парте и всех подозревал.

— Наверное, это Борька стянул, — сказал он мне сразу, как только я вошел. — У него больше всех двоек, он и стянул.

— Сам ты стянул, — сказал Игорь. — Разве это от двоек поможет? Ни за что не поможет, только еще хуже будет. Не надо было его трогать, с журналами лучше не связываться.

Я заметил, что теперь, когда журнал пропал, Игорь еще больше стал его бояться, а я думал, что он-то обязательно обрадуется.

— Нет, — сказал Фимка, — наверно, все же не Борька. Вон он как заливается, как паровоз. А кто же тогда?

— Эх ты, — сказал Игорь, — сыщик.

В это время в класс вошла Антонина Сергеевна, и лицо у нее было расстроенное, как в больнице.

— Садитесь все по местам, — сказала она. — Тише. Первого урока у вас не будет. Сейчас я уйду, и вы сами обсудите,



что делать. Я обещала директору, что к концу этого часа журнал будет на месте, и я на вас надеюсь. Все.

Когда она ушла, первым вскочил Юрка Десятников и закричал, что можно делать что угодно, и он, конечно, тоже однажды поджег парту, но воровать журнал — это уже слишком. Он хотел еще сказать о бдительности, но тут девочки начали кричать, что он сам ужасный хулиган и кому бы говорить, только не ему, а Боря Кашленко вступился за него и сказал, что кто против Юрки скажет, схватит по мозгам, хоть девчонка, хоть кто; и после этого поднялся такой крик, что ничего уже нельзя было разобрать. Кто кричал про журнал, кто про двойки, и все подозревали друг друга и вспоминали, кто как хулиганил, а некоторые просто так орали и стучали по партам, как сумасшедшие.

«Вот что я наделал, — подумал я тогда. — Это из-за меня. Выходит, я уже стал негодяем, только не заметил когда».

Мне вдруг стало на все наплевать, будто я уже умер. Пускай меня не пустят в Сиверскую, пускай исключат из школы, пусть что хотят делают, раз я умер, только бы они перестали кричать и показывать пальцами друг на друга.

«Что я буду всем им жизнь отравлять, — подумал я, — лучше бы мне умереть».

Я взял промокашку и написал на ней, где я спрятал журнал, а потом толкнул Фимку, чтобы он перестал орать, и отдал ему эту записку.

— Вот, прочтешь, когда я уйду, — сказал я ему и пошел к двери.

Никто, кажется, не обратил на меня внимания, и я, выйдя за дверь, сразу же побежал вниз, чтобы Фимка не успел очухаться и не потащил бы меня обратно.

На улице было очень тихо и светло, хоть и без солнца, и я пошел просто так прямо, потому что не знал еще, куда мне идти и что делать.

«Нет, — думал я, — теперь уже все. Никогда мне не исправиться, ни ученым не стать, никем. Мама придет в такой ужас, что никогда теперь не пустит меня в Сиверскую к Вадиму, а без этого зачем же мне жить? Совершенно незачем».

Мне вдруг так захотелось, чтобы было зачем жить, что я не выдержал и даже побежал. Я тогда еще не соображал, куда, а все бежал мимо домов, переулками, какими-то дворами, потом проехал немного на подножке и снова побежал

пешком; и так я бежал, пока не увидел мостик и за ним Варшавский вокзал с большими буквами на крыше.

«Так вот куда я бежал, — понял я и остановился. — Ну и пусть! Раз теперь все равно уже хуже не станет, я поеду в Сиверскую, а там будь что будет!»

— Ну и пусть! — крикнул я вслух и помчался через мостик к вокзалу налево, туда, где кассы.

Я бежал и думал очень быстро и про все сразу: и про маму, и про журнал, и про Стеллу, и, главное, я думал, что, может, еще не все кончено, мы пойдем ловить рыбу, и у нас с Вадиком хватит времени обо всем поговорить, и мы обсудим с ним и с Кадырой тоже, кем надо быть, чтобы не стать негодяем, и может, тогда все уладится и снова можно будет жить хорошо и интересно, что бы там с нами ни случилось.



ПУРГА НАД „КАРТОЧНЫМ ДОМКОМ“

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ





1 В комнате пахло горячим сургучом и дровами. Дрова лежали рядом с гудящей печкой. Пожилая женщина в валенках и платке брала полено, стряхивала с него снег и совала в открытую дверцу. Громко зашипев, полено исчезало в пламени. Другая женщина, помоложе, стояла за барьером около электроплитки. Сургуч таял, тянулся из банки за щепкой-мешалкой, и молодая с любопытством следила за коричневой лентой — когда порвется.

В углу пискнул зуммер.

Обе женщины разом подскочили к старенькому телефонному коммутатору, но молодой было ближе, она опередила и первая взяла наушники.

— Ночлегово слушает.

— Апечка, ты? — раздалось в наушниках. — Ответь директору интерната. Интернат, даю Ночлегово.

— Ночлегово? Ну, где там Зипуны? Сколько можно ждать?

— Алексей Федотыч, но я же вам говорила — не отвечают Зипуны. Наверно, обрыв. Пурга-то какая, слышите?

Она повернула микрофон в сторону окна, за которым с воем и свистом неся снежный поток.

— Что вы мне пургу даете слушать! У меня здесь на третьем этаже пострашнее воет. Вы мне Зипуны, Зипуны дайте!

Молодая нащупала в ряду нужный штекер, вставила его в гнездо и несколько раз нажала кнопку вызова.

— Ну вот, опять не отвечает. — Голос ее звучал жалобно. — Наверняка обрыв. Или Новый год до сих пор празднуют.

— Хорошо он начался, этот Новый год, ничего не скажешь.

— А что случилось, Алексей Федотыч?

— Ребята зипуновские ушли домой — вот что. Четверо.

— Ах, разбойники! — воскликнула пожилая. — Ах они неслухи оканные!

— Да не они, — закричал директор интерната. — Это я! Я неслух. Говорила мне утром тетя Паня, уборщица: «Не пускай их, Федотыч, малые они еще да глупые». Так нет же, я все свое: пятый класс, взрослые люди, инициатива, нужно доверять. Вот и доверил. Где они теперь, эти четверо? Дошли? Нет? Успели до пурги? Сажу теперь и тряусь. И поделом мне.

— Да как же вы отпустили? За пятьдесят километров?

— Какие пятьдесят? Это по большаку пятьдесят. А они напрямки на лыжах. Там по лесной-то дороге и двадцати не будет. Они уже сколько раз так ходили.

— Тогда и сейчас дошли. Все по домам сидят. Пурга часа в два началась, не раньше. Если с утра вышли, так должны бы дойти. Вы не волнуйтесь. А моя как там у вас? Не попаладась вам на глаза?

— Ваша нормально. Мышку вчера на елке играла. Вообще способная. Как пурга кончится, привезем ваших ночлеговских на каникулы.

— Когда еще она кончится...

— Вот именно, что когда. Уж вы, Анечка, если Зипуны ответят...

— Конечно, Алексей Федотыч, конечно. Сразу же соединю. В наушниках стихло, и снова комната наполнилась монотонным свистом ветра и гудением пламени в печке.

— Зипуновские все отчаянные, — сказала пожилая. — А хуже всех председателюша ихняя, Ешкилева. Еще прошлый год с тигроловами за зверем ходила.

— Да ну?

— Вот тебе и «да ну». — Пожилая окинула взглядом кучу поленьев. — Запаста, что ли, тебе дров на ночь...

Она натянула ватник и вышла на улицу, но тут же, задыхаясь, влетела обратно. Все лицо ее было залеплено снегом.

— Повалил — видала? Только с крыльца сошла, ну чисто как машина налетела. Уж и не упомяну такой пурги.

Молодая вздохнула и принялась запечатывать сургучом пачку заготовленных бандеролей.

Снова запищал зуммер.

— Ночлегово! Вас вызывает научный городок.

— Ой, а зачем? — всполошилась молодая.

— Не знаю. Научный городок? Говорите, Ночлегово слушает.

Незнакомый голос звучал слабо. Казалось, он устал проталкиваться сквозь щелчки, шорохи и пiski на далекой линии.

— Здравствуйте, Ночлегово. Скажите, с кем я говорю?

— С Анечкой. То есть с начальником отделения связи.

— Сейчас, Анечка, одну минуту. Я потерял вас на карте. Ага, нашел: Ночлегово. Да, вы как будто ближе всех.

— Ну что вы! Мы, наоборот, самые дальние.

— От чего дальние, от чего и ближние. «Карточный домик» знаете?

— Нет.

— Новый филиал нашего института. Километров двадцать пять к востоку от вас, такой большой зеленый дом.

— А, это где ученые живут? Я что-то слыхала. Его лет пять назад строили.

— Мы с утра не можем с ними связаться. То ли радио у них отказало, то ли случилось что-нибудь. Хотели полететь, как обычно, на вертолете — ветер не дал. Послали вездеход, но и от него никаких известий. Может, вы нам можете.

— Да как же? От нас и дороги к ним не осталось. За-росла.

— Дорог там вообще поблизости нет. Этот корпус специально выстроен подальше от дорог.

— А если на лошадях, то сами понимаете...

— Нет, и на лошадях не надо. Но там неподалеку стоит дом лесника. Вот с ним нет ли у вас телефонной связи? Может, он что-нибудь нам скажет.

— А и правда, есть радиотелефон. Только ему зимой почти не звонят, я и забыла. Соединить вас? Я сейчас.

Штекер с мягким щелчком вошел в свое гнездо. Пожилая подседа рядом и подперла голову рукой, зажав в ней третий наушник, хотя нужды в нем не было — радиотелефон давал усиление звука через динамик.

— Странно, — сказала молодая. — Трубку сняли и молчат. Алло? Это дом лесника? Ответьте научному городку. Алло... Алло...

— Дайте мне послушать, как они там молчат, — сказал голос из научного городка.

— Даю.

— Да, история. Постойте-ка — а это что за звуки? Помехи на линии?

— Я тоже так сначала подумала. Но нет, никаких помех я что-то не слыхала.

— Вам, Анечка, это что-нибудь напоминает?

— Да. Похоже, что собака скулит.

— Вот и мне так кажется.

— Скулит и подывает.

— Стоп. А это что было?

Молодая испуганно переглянулась с пожилой и, когда та кивнула, сказала почему-то шепотом:

— Будто стрельнул кто неподалеку...

Стало тихо.

Все трое напряженно вслушивались, и вот сквозь шорохи и потрескивания до них через километры пурги и леса донесся слабый, но явственный звук, уже не оставлявший сомнений. Выстрел. Еще один.

— Да-а... Что-то мне все это перестает нравиться.

В голосе человека из научного городка теперь звучала такая серьезная тревога и озабоченность, что молодая не решилась что-нибудь сказать.

— Анечка из Ночлегова, у меня к вам просьба. Вызывайте этого лесника каждые полчаса. Если кто-нибудь ответит, давайте знать. Хорошо?

— Обязательно.

— А мы тут пока обдумаем, что можно предпринять.

Телефон отключился. Молодая вынула штекер из гнезда, и он быстро скользнул на свое место, утянутый пружинящим проводом.

— Кругом наука, наука, — вздохнула пожилая, — а с погодой справиться не могут. Вона чего вытворяет. Чего хочет, то и делает.

— Молчали бы вы, Феоктистовна, насчет науки, — взорвалась молодая. — Вам операцию сделали, жизнь спасли, а вы все ворчите.

— Да, как мне черепушку открыли и опухоль выковырнули, про это ничего не скажу — чудо, да и только. И не болит теперь и не давит. А вот против погоды...

— А против погоды пока и печка помогает. Дров-то хватит ли? Мне, я вижу, придется всю ночь здесь дежурить.

— Надо бы добавить. — Пожилая поднялась, затягивая платок.

— Вас опять собьет.

— А я по стенке, по стенке. Дрова такое дело — их сколько ни запасай, лишних не будет.

Перед дверью она набрала побольше воздуха и исчезла в темных сенях. Только она вышла, зуммер запищал в третий раз. Молодая надела наушники и сразу же заулыбалась, закричала обрадованно:

— Зипуны! Наконец-то. Что у вас там было? Почему не отвечали?

— Да оборвало над самой крышей. Мы звоним, звоним — ничего понять не можем. Только сейчас починили.

— Ну как там ребята ваши? Дошли?

— Какие ребята?

— Интернатские. Которые утром на лыжах вышли.

На другом конце замолчали, потом сказали упавшим голосом:

— Нет. Никто не приходил.

— Да может, вы не знаете? Может, они пришли и по домам сидят.

— А сколько их пошло?

— Вроде четверо.

— Значит, все. И мой вместе с ними. Нет, не пришли они — я бы знала.

Молодая оглянулась на темное, вздрагивающее под ветром окно и даже зажмурилась.

— Ой, лихо мое. Беда-то какая.

— Да уж, хуже нельзя. Давай мне интернат.

— Даю, даю... Район? Район. Ночлегово интернат вызывает... Алексей Федотыч, Зипуны ответили... Не знаю, как вам и сказать... Нет, не пришли они... А шесть лет назад, помните? Тоже двое заблудились, а ведь нашли их... Нет, никто не пришел... Да-да, сейчас соединю... Сейчас.

2

А Килю они с самого начала не хотели брать с собой. Дима, Димон мог бы придумать десять, двадцать, сто способов, как избавиться от Кили, и любой из них сработал бы безотказно. Но попробуй придумать что-нибудь толковое, когда тебе ставится условие, чтобы все было «честно». Если же получалось «нечестно, нехорошо», Степа ни за что не соглашалась. Даже такая невинная вещь — запланировать выход на десять утра, а потом сделать вид, будто сговаривались на восемь, и уйти раньше, без него — даже такой пустяк вызывал у нее презрительную гримасу (нижняя губа закушена, верхняя сморщена и притянута к носу).

— Но ведь сами-то мы будем знать, что сговаривались на десять! Будем или нет? А раз будем, знаешь, как это называется?

И вот теперь они со своей «честностью» и «хорошестью» не мчались по заснеженному лесу втроем, как мечтали, а плелись с этим тюком из варежек, валенок и шарфов, поставленным на лыжи, — Колькой Ешкилевым по прозвищу Киля.

Киля начал увязываться за ними давно, еще с летних каникул. Если, например, мяч у них во время игры улетал в овраг, заросший крапивой, и Димон с Лаврушей затевали долгое препирательство, кто его туда заколотил и кому доставать, откуда-то незаметно появлялся Киля, ни слова не говоря лез в овраг и вскоре появлялся с мячом в руках, со свежими волдырями по животу, щекам и коленкам, но с сияющими глазами. Или они опаздывали к началу сеанса в деревенский клуб и со вздохом занимали «стоячие места» среди зрителей, подпиравших стены, но вдруг кто-то махал им рукой из середины зала — это Киля вскакивал на скамейку, которую он удерживал до их прихода, лежа на ней животом и вцепившись руками и ногами. Или у Стеши начинала хрипеть и задыхаться ее карманная «Селга», и она трясла ее, колотила, прижимала к уху, но все равно не могла ни слова разобрать в своих любимых театральных передачах, одни вопли и стоны, настоящий театр абсурда — кому это нужно. И опять откуда ни возьмись выныривал Киля и протягивал в потной ладони свежую батарейку как раз к этому приемнику, в герметическом полиэтиленовом мешочке.

Что им оставалось делать?

Они принимали его услуги, говорили «спасибо», хлопали по плечу... и через минуту забывали о его существовании.

Или старались забыть.

Потому что быть обязанным Киле — в этом им чудилось что-то унижительное. Он был младше их на год. Ниже ростом. Слабее во всем. Даже Стешин рюкзак ему было не пронести и километр. При этом еще сказочно невезуч. Если в траве где-нибудь притаивался осколок стекла, он обязательно напарывался на него босой ногой. Если мосткам через ручей приходило время сломаться, они ждали именно того момента, когда Киля ступит на них. Стоило ему выйти в чистой рубашке, как пролетающая сорока капала точечкой на отутюженный воротник. Наконец, единственный раз, когда он решился принять участие в обычном развлечении своих одноклассников и сбросить из окна третьего

этажа бумажную «бомбу» с водой, она взорвалась во дворе интерната прямо у ног проходившего Алексея Федотовича, директора.

Конечно, им было жалко его. Но с какой это радости они должны принять Килю в свою компанию и дружить с ним? Когда он молча глядел на них издали немигающим расширенным взглядом, будто просил о чем-то и ждал и надеялся, всем троим делалось так смутно и тяжело на душе, что хотелось только одного — убежать, спрятаться, отгородиться.

Даже Стеша при всех своих «хорошо — плохо» признавала, что никто не обязан выполнять эти немые взглядовые просьбы. Поэтому, когда однажды в разгаре лета они отправились в очередной поход (так давно собирались! К Запрудному озеру за раками! С вочевкой у костра!) и, уже углубившись в лес, увидели, что незванный и безмолвный Киля тащится за ними, они на секунду опешили от такой наглости, потом остановились, потом посмотрели назад (не почудилось ли?), потом друг на друга, и тогда Димон, которому почему-то всегда выпадало брать на себя все тяжелые и неприятные дела, повернулся и пошел навстречу Киле.

Тот стоял и ждал его, и смотрел своим обычным просительным взглядом, но еще что-то новое было в его лице, что-то похожее на виноватую улыбку.

Эта улыбка сильно мешала Димону. Чем ближе он подходил, тем шире раздвигал плечи, грознее сутулился, шевелил бровями, надувал брюшной пресс, но ничего не помогло. Киля все так же глуповато улыбался и не двигался с места.

— Ну? — сказал Димон, останавливаясь шагов за пять, чтобы был еще запас расстояния — надвигаться и пугать. — Куда это ты собрался?

Киля молчал.

— Тебя кто-нибудь звал? Ну, говори — звали тебя или нет?

Киля молчал, краснел и улыбался.

— Так вот, поворачивай, и чтобы я тебя на этой дороге не видел. Понял? А не то — считаю до трех. Раз, два...

Киля не двигался.

Пришлось сказать «три» и попытаться использовать оставленные пять шагов. Димон набрал воздуха, присел, сделал страшное лицо и бросился вперед со своими плечами (в два раза шире), брюшным прессом (можно стать двумя ногами),

кулаками (сорок килограммов на силомере правым, тридцать шесть — левым).

Киля только втянул голову в плечи и зажмурился.

Это было совершенно не по правилам. По правилам он должен был кинуться бежать со всех ног, в худшем случае — прокрячить издали что-нибудь угрожающее или обидное и исчезнуть. Так, во всяком случае, вела себя до сих пор вся мелюзга, которую доводилось шугать Димону. А что было делать с этим, с неубегающим? Не бить же его, на самом деле.

— Вали отсюда, — нерешительно сказал Димон и толкнул Килю в плечо.

Тот послушно плюхнулся в дорожную пыль и только тогда открыл рот и выпалил одним духом, видимо, давно заготовленную фразу:

— Можно-мне-ходить-с-вами -я-умею-север-и-юг-по- мху-на-деревьях-и-вырезать-закопченные - тросточки-а-ваших -мест-никому-не-скажу-режь-ножом-жги-огнем.

— Нельзя, — сказал безжалостный Димон. — С нами никому нельзя. И не лезь ты к нам больше. Будешь лезть — еще не так получишь.

Он вернулся к своим, и они все трое быстро и сосредоточенно пошли по дороге и, лишь пройдя большую часть пути, украдкой оглянулись.

Киля не было.

Лесной туннель уходил в лесную бесконечность, и только трава, прибитая ими, медленно распрямлялась. Тут Стеша вздохнула и заявила, что поступили они все-таки неважно, почти подловато, на что Димон немедленно взъелся и стал допытываться: кто же именно неважно поступил? Не с их ли молчаливого согласия он прогнал Килю?

Так они препирались на ходу: «Все равно — нехорошо». «Нет, ты скажи кто, прямо скажи», «Не знаю кто, а все равно — нехорошо» — пока заглядевшийся на них Лавруша не въехал лицом в паучью сеть, на краю которой здоровенный паук завтракал небольшой перламутровкой. Как всегда при виде живого, поедающего живое, Лавруша расстроился, и тогда те двое, оставив свою перепалку, накинулись на него, стали доказывать, что пауки полезнее бабочек, что в природе все разумно, естественный отбор, борьба видов, сам ведь собираешься сегодня поживиться за счет ракообразных, да-да, вон уже их обиталище виднеется. Озеро блеснуло за стволами.

Они сбросили рюкзаки и побежали купаться.

Потом носились друг за другом по прибрежной траве.

Потом срубили в лесу две сушины для костра, чтоб горел всю ночь, а на мелких сучьях вскипятили чай.

Потом расстелили одеяло и разложили на нем припасы — каждый кусок на три части.

В общем, они и думать забыли о чем-нибудь, кроме предстоящей ночной охоты, когда Лавруша, рассыпая творог с недоеденного бутерброда, вдруг радостно закричал:

— Глядите! Глядите!

Никогда нельзя было знать заранее, что может привести Лаврушу в восторг. Поэтому Стеша с Димоном, поворачивая головы, были готовы увидеть что угодно: змею, рысь, лесной пожар. Что угодно, только не Килю, сидящего на корточках в двадцати шагах и глядящего на них все с той же виноватой улыбкой.

— Как в страшном сне, — сказал Димон. — Мальчик, ты чей? Что-то у тебя лицо очень знакомое.

Стеша схватила его за обе руки, но Димон и не думал вставать. В наступившей тишине стало слышно, как шипит влажный мох по краю костра и гудят первые вечерние комары. Черноглазый лягушонок вылез из брусничника и запрыгал в сторону Киля.

— Ребята, ну чего вы? — не выдержал Лавруша. — Пускай, а? Раз все равно он сам дошел. Что нам — жалко? Киля, иди сюда! Слышишь? Иди.

— Не, мы здесь, — хрипло ответил Киля. — Мы не мешаем.

И тогда Стеша с криком: «Эх, вы!» — вскочила на ноги, подбежала к нему, за руку притащила упирающегося к костру, сунула кружку с чаем и вареное яйцо, сама уселась рядом, положила подбородок на колени и уставилась — нет, все трое теперь уставились на Димона.

Димон пожал плечами, обвел глазами верхушки сосен, прибрежный камыш, рассеянно взял с одеяла кусок сахара, повертел перед глазами и вдруг едва заметным баскетбольным движением швырнул его точнехонько в Килю кружку. Киля слизнул с руки разлетевшиеся капли и недоверчиво поглядел на остальных.

— Откуда ты знаешь? — сказал Лавруша. — Может, «они» больше любят вприкуску.

И все наконец с облегчением засмеялись, просто покати-

лись со смеху, хоть шутка того не стоила, и Киля смеялся громче и радостнее всех.

Нельзя сказать, чтобы они жалели потом, что взяли его в свою компанию.

Уже в тот вечер, когда они, дождавшись темноты, спустились к озеру, им было хорошо от мысли, что кто-то остался в лагере. И, бродя по пояс в черной воде, высвечивая лучом фонарика расползающихся из-под ног раков, приятно было время от времени поднять голову и увидеть посреди жутковатой стены леса яркое пятно костра, поддерживаемого Килей на берегу. А вернувшись — показывать ему добычу, каждый — свою, и упиваться его восхищением. А потом угощать его дымящимися раками (неприятное дело опускания их в соленый кипяток опять досталось Димону, а Лавруша на это время куда-то исчез и вернулся уже на готовенькое). А потом учить его всем премудростям походных ночлегов и делиться с ним, с незапасливым, одеялом и антикомарином «Тайга». А возвратясь после каникул в интернат, защищать его от нахальных одноклассников и угощать печеньем, присланным из дому. И вообще приятно было встречать на деревенской улице или в школьном коридоре человека, которому достаточно сказать: «Привет», или: «Как дела, Киля?», или: «В кино пойдешь вечером?» — и он просияет от счастья.

Но бывали и такие случаи, когда Киля был им только в тягость и они не знали, как от него избавиться, не обидев; обижать же его у них теперь просто язык не поворачивался, рука не поднималась.

А в то утро — первое утро Нового года — он им был уже вовсе ни к чему и тащился там сзади по лыжне так, что они чувствовали себя бурлаками, волочащими груз неуклюжести, медлительности, ответственности, — ведь обещали Алексею Федотовичу — ну, чистое наказание!

3

— Дима!.. Дима, не беги так... Это же невозможно — слышишь? — разговаривать на такой скорости...

— О чем тут разговаривать?

— Но ведь я предупреждала тебя вчера, что задержусь... Потому что у нас спектакль, — предупреждала? Что ж тут обижаться?

— Никто не обижается.

— Я играла Лизу... в «Горе от ума»... Знаешь, как мне хлопало! А тебя что — дежурные не пустили?

— Вот еще, выдумала. Да если б я захотел...

— Ага, ага! Значит, сам не захотел... И представляешь, я в одном месте ужасно перепутала. Там, где «хоть я любви сама до смерти трушу, но как не полюбить буфетчика...» — и я вместо «Петрушу» говорю «Лаврушу». Ужас! А потом...

— Вот-вот, расскажи про «потом».

— Про когда?

— Про после спектакля. Мы же договаривались — в девять идем на каток. Скажешь, тоже перепутала?

Димон, не оборачиваясь, выбрасывал слова, и каждое вылетало вместе с белым клубочком пара — направо, налево — точь-в-точь фрегат, ведущий огонь с обоих бортов. Лыжи его ритмично стучали о наст лесной просеки. Стеша из всех сил старалась не отставать.

— Но ведь я ждала тебя в зале. Я же не виновата, что дежурные не пустили... Конечно, это был вечер старшеклассников, кого хотят, того пускают... Я сама прошла через кулисы... А потом было неудобно так сразу уйти... Мы же все вместе, у нас коллектив...

— Коллектив? Севка Зябликов — вот весь ваш коллектив. Тоже мне, Чацкий из восьмого «б»!

— Димонище, это нечестно!

— Очень даже честно.

— При чем здесь Зябликов?

— А при том.

— Я с ним даже не разговаривала.

— Зато танцевала.

— Ну и что ж такого?... Он меня пригласил, а я...

— А ты и растаяла. Конечно, восьмой класс! Артист! Да я бы этому артисту...

— Эге-гей! Ребята-а! — донеслось до них сзади.

Давно уже у них не случалось такого увлекательного выяснения отношений. Жалко было бросать. Они нехотя остановились и посмотрели назад вдоль бело-зеленых еловых стен. Там вдалеке Лавруша, выйдя на середину просеки, держал над головой лыжные палки крест-накрест.

— Ну, все, — сказал Димон. — Чуяло мое сердце.

Скрещенные палки на их языке означали: «Что-то случилось, все сюда».

Они повернули и быстро пошли назад по собственному следу. Среди лыж, воткнутых в снег, виднелся Лавруша. Он нагнулся над лежащим Килей и что-то делал с его задранной к небу ногой.

— Как его угораздило? — спросил Димон, подъезжая. — Ведь ни одной горки не было. Обо что он споткнулся? Сам о себя?

— Там корень через лыжню. Натянут, как веревка, а сверху снег. Мы все проехали, снег содрали, вот он и зацепился.

— Ну, Кия, присваиваю тебе новый титул. Теперь ты не счастливчик-бомбометатель, а лыжник-пень-колода-корчеватель. Болит-то где? Здесь? Сильно?

Кия лежал на спине и смотрел на них таким виноватым взглядом, будто его поймали на каком-то некрасивом жульничестве. Лицо его было мокро от тающего снега.

— Ребята, ну что вы стоите? — сказала Стеша, отбирая у Лавруши Килину ногу. — Надо же костер. Быстро.

Пока они скидывали рюкзаки, доставали растопку, топорик и спички, раздували костерок, она расшнуровала и стащила с Кили ботинок, потом носок, потом еще один, потом еще...

— Сколько их у тебя?

— А все, сколько было, — смущенно ответил Кия.

Стеша наконец стянула последний, осмотрела вспухшую лодыжку, покусала губу, нажала там, здесь — Кия терпел, — но когда она начала бинтовать, не удержался — пискнул.

— Димон, — жалобно позвала Стеша. — Помогите. Надо потуже, а он пищит.

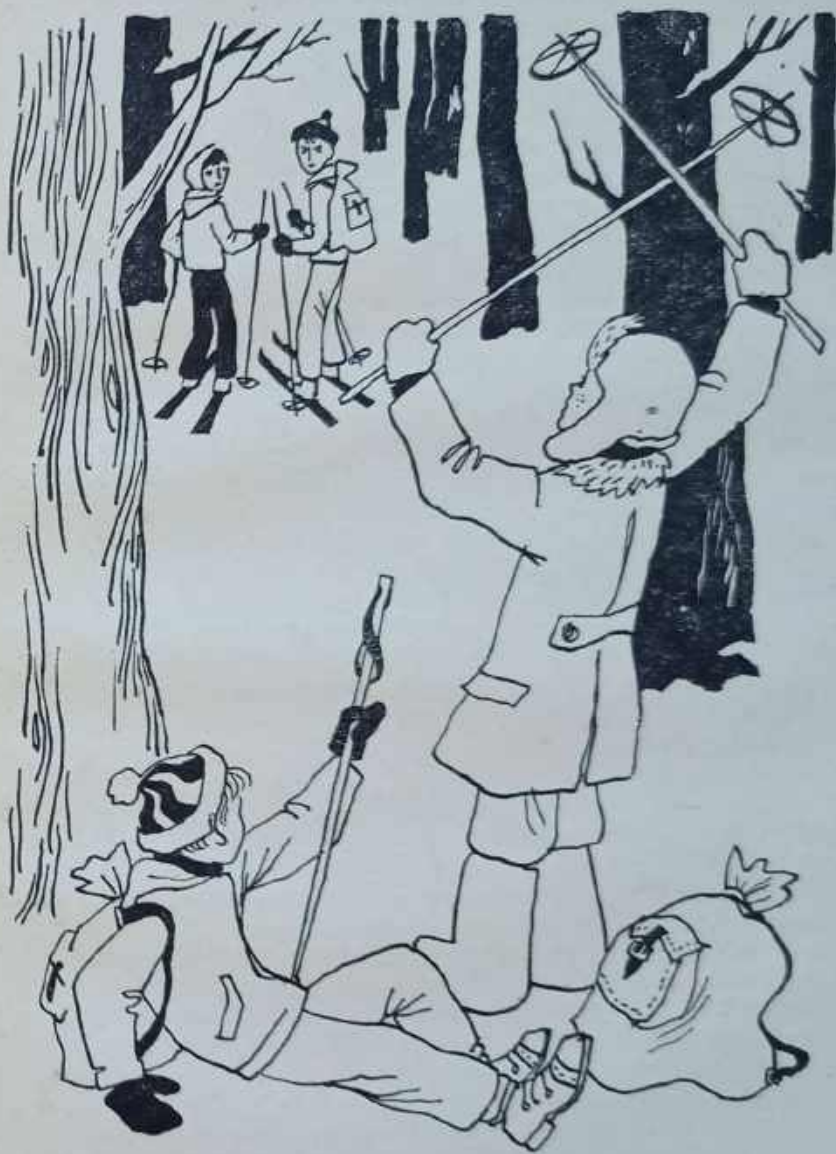
— Чуть что — сразу Димон, да? Самый жестокий, самый безжалостный...

— А вот и нет. Просто у тебя характер твердый. Ну, Дима, пожалуйста.

Димон пожал плечами, стянул рукавицы, взялся за конец бинта, сделал страшное лицо... Кия зажмурился и открыл глаза, только когда все было кончено — носки и ботинок надеты поверх повязки.

— А я и не почувствовал ничего, — протянул он с изумлением.

— Пока на спине лежишь, конечно, не почувствуешь. А ты попробуй встать на ноги. Ну что? Идти сможешь?



— Запросто, — Киля попытался даже притопнуть забинтованной ногой. — Хоть двадцать километров.

Но его бодрости хватило ненадолго.

Димон, тащившийся теперь последним, видел, как он хромает все сильнее и сильнее, как повисает всем телом на палках. Через полчаса Киля приостановился, будто бы поправить крепление, и на минуту мелькнуло его лицо, мокрое уже не от снега, а от слез.

Пришлось снова делать привал.

Лавруша извлек свой ремонтный мешочек — кусачки, проволока, шурупы, шпатель, отвертка, изолента, плоскогубцы, гвозди, остальное — непонятно что — и принялся сколачивать Килины лыжи в одну широкую лыжину с площадкой из двух досок посередине. На площадку они привязали самый большой рюкзак так, чтобы Киля мог усесться, как пассажир.

Эти самодельные нарты, эта санитарная упряжка была уже почти готова, когда Лавруша, рывшийся в своем мешочке среди непонятно чего, проворчал, что, может быть, ему наконец дадут возможность закончить работу, перестанут толпиться кругом и заслонять свет.

— Какой свет? Кто тебе... — начал было Димон и осекся.

Действительно, стало очень темно. Хотя часы показывали всего два — начало третьего.

Они подняли головы и тут-то наконец заметили ее.

Тучу.

Гигантскую.

Черную.

Затянувшую почти все небо, — только в конце просеки виднелась светлая полоска.

Ни слова не говоря, они поспешно посадили Килю (как тот ни упирался) на рюкзак, застегнули крепления и пошли вперед. Густой снег, будто только ждавший сигнала, повалил на них — стало еще темнее. Вскоре лыжи начали зарываться, исчезать на каждом шагу, как подводные (подснежные?) лодки. Согнутая спина Димона, тащившего Килю на буксире, сам Киля, его плечи, шапка, рюкзак — все покрылось белой подушкой. Первый же порыв ветра пылью раздул ее в стороны, понес обратно вверх, бросил в лицо. Верхушки елей нагнулись все в одну сторону, от них пошел ровный шум.

— Димон! — прокричала Стеша. — Может, вернемся? Пока не поздно.

Димон остановился на минуту и оглянулся назад.

— Не-е... Назад еще дальше. Нам бы только поле проскочить, а там...

Они прошли еще сотню метров — просека кончилась. Дальше дорога шла через открытое место. Но никакой дороги, в сущности, уже не было. Еле заметная впадина еще некоторое время указывала им направление, потом и она растворилась среди сугробов.

— Лавруша-а-а! — крикнул Димон. — Правее забирай... На сопку-у!

— Ее не видно-о-о! — донеслось спереди. — Как в молоке...

Дальше они брели наугад.

Ветер со свистом налетал на них сбоку, давил, толкал, залепил глаза снегом. Стеше иногда казалось, что на этот уплотнившийся воздух можно облокотиться, как на стенку. Но стоило поддаться этому впечатлению, как ветер коварно менял направление, опора исчезала, и она чуть не падала. Лавруша тащился впереди, упрямо согнувшись, прокладывал лыжню. Не было видно ни сопки впереди, ни полосы кустов, от которых следовало сворачивать, ни леса, оставшегося позади. Пальто, свитер, вся одежда, казавшаяся раньше такой плотной и теплой, сделалась как будто вдвое тоньше. Струйки холодного воздуха насквозь прокалывали ее сотнями иголок.

— Стой! — завопил вдруг Киля. — Нашел! Сюда! Чуть не проехали. Вон — глядите.

Отворачивая лицо от ветра, они столпились вокруг него, вгляделись в то место, куда он в возбуждении тыкал варежкой, и тут же испустили радостный вопль.

Колея!

Свежая тракторная колея, едва занесенная снегом! Они чуть не проскочили ее в темноте.

Киля, от радости забыв про больную ногу, привстал на своих «нартах» и, дергая то одного, то другого, с сияющими глазами принимал град похвал и новых прозвищ: тракторный следопыт, открыватель дорог, проводник на прицепе, одноногий спасатель.

И действительно — по колее лыжи пошли гораздо легче.

Правда, она вела не совсем в ту сторону, куда, как им казалось, следовало идти. Но не могло же быть, чтобы трактор отправился в тайгу просто так, на прогулку. Даже если он ехал не к ним в Зипуны, то куда? Конечно, к какому-

нибудь человеческому жилью, где тракторист смог бы отдохнуть и обогреться. И прошел он совсем недавно — выпавший снег едва покрывал отпечатки гусеничных траков. Нет, надо идти и идти по этой невесте откуда свалившейся на них тракторной тропе. Куда-нибудь ведь она должна привести!

Через полчаса Лавруша сменил Димона в «упряжке», потом они поменялись снова, потом — еще раз.

Кругом было все так же черно и мутно.

Ветер по-прежнему давил на них, как плотная и холодная резина, обтягивал лицо, грудь, ноги. По изменившемуся шуму они догадались, что кругом опять лес, хотя самих деревьев не было видно. Закоченевшими пальцами Димон нащупал фонарик и посветил на часы. Обе стрелки, вытянувшись в прямую линию, делили циферблат пополам: шесть. Если бы невидимый трактор ехал в Зипуны, они давно должны были быть дома. А раз ни Зипунов, ни другой деревни не видно, значит...

Он решил пока не говорить остальным, но они и сами уже все поняли. Им доводилось, конечно, слушать рассказы взрослых о людях, заблудившихся зимой в тайге, но истории эти казались тогда какими-то далекими, вроде приключений из книжки. И всегда думалось: что ж он компас не взял? Или: надо было ему зарубки делать на деревьях, чтобы не возвращаться на то же место. Или: вырыл бы себе в снегу пещеру и переждал.

Что такое может случиться и с ними — это как-то не укладывалось в голове.

Но вот оно случилось, и все спасительные планы, выглядевшие такими простыми у теплого печного бока, оказались совершенно непригодными, когда кругом свистящая чернота, пальцы ног и рук будто уже отвалились — не чувствуются, плечи разламываются, колени не сгибаются... И единственная ниточка, связывающая тебя с миром людей и теплоты — неверная колея, ведущая неизвестно куда, — и та постепенно исчезает под падающим снегом.

Через час они сбились в кучку и съели все, что у них нашлось: булочку от завтрака, Стешину плитку шоколада и пригоршню семечек, которую Лавруша вез своему ручному хомяку.

Разговаривать не хотелось.

Только Киля время от времени бормотал себе под нос: «Ох, из-за меня это все, верно вам говорю, из-за меня, брось»

те вы меня здесь, может, утром кто проедет и подберет». На него шикали, просили «не травить душу».

Дальше шли, не глядя на часы, не глядя по сторонам, почти механически.

Они уже были в том состоянии, когда даже думать не остается сил. Только вслушиваешься в то, что происходит внутри, в нытье и жалобы всех мышц.

«Куда! Куда вы снова взвалили на меня эту тяжесть, — будто вопликает левая нога. — Уберите ее немедленно! Я не выдержу».

И ты послушно убираешь, переносишь вес тела на правую, но и правая тут же начинает вопить, чтоб убрали, что она не железная, что хватит! И тогда переносишь на руки, повисаешь на ходу на палках, давая короткую передышку ногам. И снова: на левую, на правую, на руки. На левую... На правую... На руки...

И поверить невозможно, что где-то люди сидят в светлых комнатах. И от батарей пышет таким жаром, что кто-то может сказать: «Ух, жара!» — и стянуть свитер через голову. Что в интернатской спальне рядами стоят кровати под синими одеялами. Такие кровати, что повалиться бы на них и лежать, лежать... То-то блаженство!

А какие мягкие кресла расставлены внизу в вестибюле.

А как хорошо в зале!

Там сейчас, наверное, сдвинули елку в сторону, чтоб не мешала показывать кино, и можно было бы усестись в ряду за проходом и сидеть, расслабившись, никуда не брести, не сжиматься от холода, не нащупывать онемевшими ногами узкую полоску твердой колен, которая...

Лавруша, шедший впереди, едва успел затормозить.

Лыжи его проехали немного по инерции и уперлись в какую-то темную громаду, выросшую внезапно из снежной свистопляски.

— Ребята! — завопил он что было сил. — Скорее! Здесь трактор! Я чуть не врезался.

Но нет — на трактор это было мало похоже.

Скорее — на танк. Только без башни и без пушки.

Остальные бросились вперед так, будто спешили на поезд, который мог вот-вот уйти.

— Вездеход! Ясное дело, это вездеход! — прокричал подоспевший Димон.

Он сбросил с плеча буксирную веревку, отстегнул лыжи

и взобрался на левую гусеницу. Луч фонарика скользнул по заснеженным стеклам кабины, лягнула железная дверца.

Трое внизу ждали, затаив дыхание.

Потом светлое пятно появилось снова — и до них донесся упавший голос Димона:

— Никого... Пусто.

Тут же ветер, будто набрав новые силы, завыл еще сильнее, еще гуще наполнился снегом и понес его засыпать, сглаживать, топить цепочку оставленных ими следов.

4 — Но не мог же он сам! Сам заехать сюда.

— Почему не мог? А если он с телеводителем? Управляется по радио — очень просто. Телекамера показывает, что впереди, перед фарами, оператор сидит себе за сто километров у пульта и управляет. Как луноход — видала?

— А где же у него телекамера? Или этот — телеводитель? Ну, где?

— Не знаю. Может, вот здесь?

— Не-е, это ящик для инструментов.

— Лавруша, попробуй все же — нажми какую-нибудь педаль.

— Ты что?

— Мотороллер же ты умеешь водить.

— Сравнил тоже.

— Вездеход, конечно, труднее, зато правил никаких не нужно. Развернулся бы и пошел-поехал.

— Говорят тебе — мотор не завести. Зажигание — вот оно, а ключа нет.

— Да, хорошо бы на таком въехать в деревню. Шикарно.

— Перестаньте. Если все начнут разъезжать на оставленных вездеходах, знаете, что получится?

Киля вдруг засопел, потянулся вниз, просунул руку между сиденьем и дверцей и поднял с пола какой-то предмет. В луче фонаря мелькнули крупно напечатанные цифры: 1877.

— Что ты мне тычешь? — спросил Димон. — Сигарет не видел? Обыкновенная пачка «Шипки».

— А ты? — Лавруша протянул к пачке руку. — Ты видел когда-нибудь курящего телеводителя?

Ребята затихли.

Вой ветра за окнами кабины из монотонного сделался зловещим. Неясное предчувствие беды повисло в воздухе.

— Может, он где-нибудь недалеко, — тихо сказала Стеша. — Никакой не «теле», а настоящий — живой. Может, лежит сейчас в снегу и замерзает.

— Если недалеко — почему же он тогда не вернулся? Включил бы мотор, отопление и согрелся.

— Мало ли что могло случиться. Провалился в яму. Ногу подвернул, как Киля. Придавило упавшим деревом. Я не знаю, но может быть...

— Что?

— Может, все-таки пойти поискать? Для очистки совести. Никто ей не ответил.

Вылезать снова наружу — об этом и думать не хотелось. Кабина тоже успела промерзнуть, но в ней хоть не дуло. Одно из стекол ослабло под снежным напором и теперь отрывалось на каждый новый удар жалобным дребезжанием.

Димон наконец не выдержал — вздохнул и полез к выходу.

— Только не отходи далеко. — Стеша придерживала его за полушубок. — Покричи немного и сразу возвращайся.

Казалось, она сама уже была не рада, что завела разговор про поиски.

— Ладно, — отмахнулся Димон. — Держи вот спички. Будешь зажигать их по одной. Вместо маяка.

Снежный бурун ворвался в приоткрывшуюся дверцу. Заслонившись локтем, Димон нырнул в него, как в воду, и исчез. Два раза до них слабо донесся его голос, мелькнул луч фонаря — потом все пропало.

Стеша чиркнула спичкой. Огонек осветил приборы, зажмурившегося Килю, цветную картинку, наклеенную рядом со спидометром, — бегун с факелом в руке. Спичка горела, постепенно выгибая из пламени головку на черной шее, и Стеша держала ее, сколько хватало сил терпеть. Будто ее обожженный палец мог кому-то помочь.

— Киля, ты чего? — тихо спросил Лавруша

— Чего?

— Сопишь как-то жалобно. Нога болит?

— Не.

— А что тогда?

— Мать жалко. Извелась, поди.

— А моя, думаешь, нет? Твоя-то хоть смелая, виду не

покажет. А моя небось молиться уже начала. Если я заболею или что, она сразу — бух рядом с бабкой на колени. И крестятся, и бормочут, и лбом в пол стучат. Ужас...

Стеша успела сжечь полкоробка, прежде чем они услышали лязг дверной ручки и облепленный снегом Димон ввалился в кабину.

— Ребята... там... внизу... — Голос его дрожал от еле сдерживаемого ликования. — Только, чур, спокойно... На пол не падать... Сознания не терять...

— Ну, что?

— Говори!

— Водителя нашел?

— Нет?

— Дорога? Шоссе?

— Да не томи!..

— Там... — Димон для пущего эффекта сделал торжественную паузу, потом вдруг надвинул Киле и Лавруше козырьки шапок на глаза и заорал во все горло: — Там дом! Слышите — до-о-о-ом! Настоящий! Трехэтажный! И окна!.. Светятся!..

Их будто подбросило.

Давясь в дверях и тузя друг друга, они посыпались вниз, подхватили валявшиеся лыжи и палки и двинули вслед за Димоном напрямик через снежную целину. Даже Киля забыл про боль в ноге и отталкивал протянутые руки — сам, сам! Ни жуткий вой, ни чернота, ни ветер, хлещущий по лицу, не казались больше страшными, раз поблизости была такая великая, такая прекрасная, такая обычно не замечаемая вещь — ДОМ! Человеческое жилье!

И действительно, продравшись по пояс в снегу через кусты на опушку леса, они увидели внизу ряд светящихся пятен. Пологий склон, уходивший в темноту, был вылизан ветром дочиста, зато у самой подошвы намело так, что можно было провалиться по шее.

— Вплывы! Айда в плывы! — орал Лавруша, гребя по снегу руками.

— Киля, гребь брассом!

— Ой, тону!

— Сюда, ребята, здесь мелко...

— А я уже выбрался...

— И я...

— Здесь стена какая-то.

— А казалось — еще далеко.

— Нет, это склад, наверно. Без окон.

— Дом-то вон где.

— Гляди — трехэтажный!

— Куда это нас занесло?

— Может, Ночлегово.

— Сказал тоже. В Ночлегове и домов-то таких громадных нет.

— Эй, здесь какой-то окоп.

— Тропинка засыпанная, а не окоп.

— И дверь в конце.

— Стучи, Димон!

— Откройте, пожалуйста!

— Да она не заперта.

— Вали, ребята!

Дверь распахнулась, плеснула им в лицо ярким светом, и такие вот — полуослепленные, полузадохнувшиеся, полужакоченевшие — они ввалились в дом, в комнату, в залу — не понять было сначала, что это такое, но главное — тепло.

— Здравствуйте! — сказала Стеша, приоткрывая один глаз. — Можно войти?

Никто ей не ответил.

Они стояли на пороге, с ног до головы обсыпанные снегом, и первые темные струйки талой воды скапливались на полу вокруг их ботинок. Способность различать цвета и звуки постепенно возвращалась к ним, и скоро стало понятно, что большой стол посередине вовсе не стол, а плита, что белые шкафы вдоль стен, скорее всего, холодильники, и вся комната не может быть ничем другим, как кухней ресторана или кафе. И верно — в стене напротив темнело узкое горизонтальное окно (раздача?) со стопками пустых тарелок.

Лавруша первый подошел и просунул в него голову.

— Есть кто-нибудь?

Голос его облетел полутемное кафе, заставленное рядами столиков, увешанное новогодними гирляндами, и одиноко вернулся обратно. Рядом с окном-раздачей была дверь, соединявшая кухню с кафе, но она оказалась запертой.

— Куда же все подевались?

— Может, поужинали и разошлись. А кухню заперли снаружи. В санаториях рано ужином кормят.

— С чего ты взял, что это санаторий?

— Ну, дом отдыха. Стоит себе посреди леса, а мы и не

слыхали о нем. На первом этаже столовая, наверху спальни, библиотека, телевизор. Может, даже кинозал есть. Дом-то огромный, видала?

Они прислушались.

Кинозал — такое объяснение вполне годилось. Все ушли смотреть фильм, и поэтому и пусто, и голосов не слышно, вообще никаких человеческих звуков. Только воем за окнами и электричество верещит в неоновых трубках под потолком.

А фильм, наверно, такой интересный, что все сидят зажав дыхание. И в нем нет ни взрывов, ни стрельбы, ни громкой музыки, поэтому сюда в кафе и не доносится ни звука. Такой мягкий лирический фильм с летними пейзажами, может, с морем, и на море яхты, красный надувной матрац качается на волне, на нем сидит белая птица, вертит головой по сторонам, оглядывается...

— Киля! — воскликнула вдруг Стеша. — Как тебе не стыдно?

— А фто такое? — Киля от неожиданности чуть не выронил бутерброд с ветчиной.

Он стоял у холодильника спиной к остальным, но даже сзади было видно, как у него оттопырились щеки.

— Немедленно положи назад. И не смей ничего брать без разрешения.

— А еfli я уже укуфил?

— Все равно.

Киля перестал жевать, покосился на них, потом сунул руку в карман и прощамкал что-то такое, из чего можно было понять, что он не просто берет, а заплатит деньги, у него есть «вубль» — вот, пожалуйста.

— Все равно это нехорошо, — не совсем уверенно сказала Стеша. — Некрасиво.

Киля немного подумал — хорошо или нет? — потом решительно положил рубль на полочку, запустил руку в холодильник и извлек еще один бутерброд.

— А правда, ребята, — протянул Лавруша. — От холода спаслись, не погибать же теперь от голода. У меня, например, тоже есть полтинник.

— Быка жареного — не знаю, а овечку бы я сейчас съел, — подтвердил Димон.

Они умоляюще посмотрели на Стешу.

Она некоторое время крепилась, но тут коварный Киля

будто случайно распахнул — нет, не дверцу, а настоящие ворота огромного холодильника. Этого они не могли выдержать.

Чего там только не было!

Целые подносы с пирожными, блюда студия, украшенные нарезанными цветами из морковки, жареные котлеты, сыр, банки компота, горшочки со сметаной, золотистые копчушки, гирлянды сарделек, бутылки лимонада — и все это сверкало, манило, переливалось. Ну у кого хватило бы сил стерпеть такое? Во всяком случае, не у тех, кто завтракал в девять, а на обед имел кусок булки с семечками.

Десять минут спустя они уже пировали вовсю.

В дальнем углу Лавруша обнаружил ящик на колесиках и в нем термосы с горячим сладким чаем. Какое это было блаженство — сидеть, скинув куртки и полушубки, за кухонным столиком, чувствовать, как теплота разливается внутри широкой волной, как начинают зудеть под притоком вернувшейся крови заочевенные пальцы на руках и ногах, как расслабляются одеревеневшие мышцы. Деньги, какие у кого нашлись, лежали тут же рядом, — если кто войдет, пусть у него и мысли не мелькнет, что они какие-нибудь нахалы-налетчики.

— Нет, вы только представьте себе, что бы с нами было, если б не Киля! — разглагольствовал Димон, подливая себе чаю из термоса. — Разве кто-нибудь из нас сумел бы так вовремя подвернуть ногу? Да никогда. Мы бы тихо-мирно доплелись до своих Зипунов, и что? Стеша бы сейчас с выражением читала в клубе «Выхожу один я на дорогу», я бы по дружбе подсказывал ей пропущенные слова, а бабка Агафья опять рыдала на строчке «но не тем холодным сном могилы» (нет, нет, драться нечестно!), Лавруша кормил бы своего хомья и мечтал бы, мечтал...

— О чем?

— Ну, не знаю. О слоненке. Об удавчике. О домашнем зверинце. Я хочу сказать, что все было бы, как в прошлом году и в позапрошлом...

— Разве в прошлом плохо было?

— Подожди. Представьте теперь, что тот же Киля, усаженный на рюкзак и едущий по снежной пустыне, не глядит зорко по сторонам, а только плачет, стонет и охает. Что получится? Мы проходим мимо волшебной колес и пропадаем в дикой чаще. Мы не попадаем в этот волшебный дворец.

— Что в нем волшебного?

— Все! Все, начиная от скатерти-самобранки...

— Холодильника-самобранца.

— ...кончая тем, что тепло. Как в Крыму. Но знаешь ли ты, великий ломатель ног и открыватель путей, что на твоём месте я бы не торопился радоваться. Я бы не сидел с набитым ртом, не сиял глазами и носом, а вспомнил кое-какие сказочные истории, читанные в детстве.

— Мальчик-с-пальчик?

— Или Баба-Яга. А еще лучше — Аленький цветочек. Помнишь, что там бывает обычно, когда заблудившийся путник набредет в лесу на сказочный замок, на такой вот санаторий на курьих ножках? Да-да, ты правильно вспомнил: обычно появляется чудовище.

— Рр-ы-ы! Ррр-ры! — Лавруша состроил такую страшную гримасу, что Киля даже взвизгнул — то ли от страха, то ли от восторга.

— И добро, если над ним нужно только поплакать, — продолжал Димон. — Стеша с этим справится, их в театральном кружке специально обучают лить слезы по заказу. А если это чудовище...

— Ну, хватит, — сказала Стеша. — Тебе обязательно нужно меня обидеть.

— Чудовище или нет, а хорошо бы все-таки найти хозяина. Или хозяев, — поправился Лавруша. — И показаться им, чтоб знали, что мы здесь.

— Успеется. Мы же убегать не собираемся. Я, по крайней мере, с места не двинусь.

— Не убегать, а попросить, чтобы они позвонили нашим в Зипуны. У них здесь должен быть телефон или что-нибудь.

— Ой! Мои, наверно, с ума сходят.

— И мои.

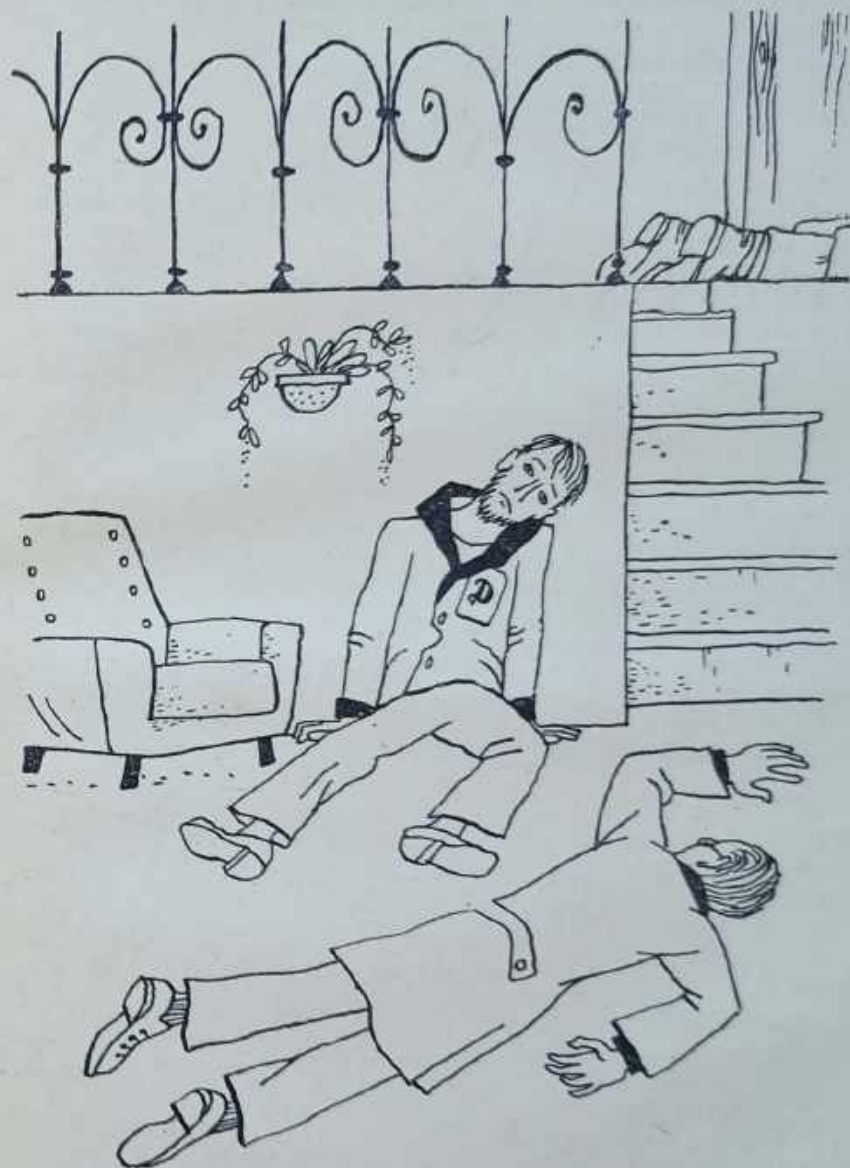
— А мы сидим тут, пируем, как в ресторане.

— Я сейчас, — сказал Киля и захромал к раздаточному окну. Туловище его исчезло в полутемной щели, мелькнули ботинки, едва не сбив стопку тарелок. Через минуту он уже звякал то ли ключом, то ли задвижкой и открывал им дверь с другой стороны.

— Прошу!

Лицо его, несмотря на запугивания Димона, по-прежнему сияло.

Ребята встали из-за стола и один за другим пошли к



дверям. Перед тем как перешагнуть порог, каждый задерживался на секунду — поправить волосы, вытереть губы, застегнуться. Кухня уже казалась им своей, домашней, само же кафе — полутемное и пустое — немножко пугало.

— Ого, вот это елочка!

— Не хуже, чем у нас в интернате.

— И картинки по стенам.

— Сатира и юмор.

— Смотри, какой старикан.

— Умора!

— А посредине-то круг, как стеклянный.

— Неужели для танцев?

— А то нет! Столики кругом, вон там — музыканты.

Они переговаривались почему-то шепотом и осторожно пересекали полутемную залу. Свет в нее падал только сзади, из кухни, и еще впереди светила вертикальная полоска. Они дошли до нее, Димон подергал рукоятку и не сразу понял, что эта дверь не на петлях, а на роликах — откатывается. Лавруша толкнул ее в бок, дверь неслышно отъехала, и они так и застыли на пороге, прижавшись друг к другу и невольно отшатнувшись от того, что увидели.

В ярко освещенном вестибюле, на полу, почти у их ног ничком лежал человек в белом халате.

Немного подальше, привалившись спиной к стене, глаза широко открыты, остановившийся взгляд, — еще один.

Наверх шла лестница, и на верхней площадке, свесив руку в щель между прутьями перил, — третий.

5 То, что карта была цветная, особенно бросалось в глаза рядом с белым экраном, висевшим тут же на стене. Коричневые многоугольники города, синяя полоса реки и над ней — восходящими клубами зеленые пятна — лес. Паутина проселочных дорог редела к краям, но и там даже маленькие деревеньки, мостики через ручей или островки на реке были вырисованы очень тщательно, некоторые названия подчеркнуты красной чертой.

Такая же красная пунктирная черта шла от города в правый верхний угол.

Дымящаяся сигарета, зажатая в цепких пальцах, описав дугу вдоль этой черты, застыла на секунду в воздухе, затем

вернулась в светлую гущу бороды и усов. Человек затаился и продолжал с середины фразы:

— ...обычная трасса нашего вертолета. При спокойной погоде долетаем за тридцать — сорок минут. Можно было бы, конечно, и по прямой, но выигрыш времени пустяковый, а с наземными ориентирами гораздо хуже. Да и опуститься негде в случае чего — сплошной лес и сопки.

Бородач изобразил ладонью в воздухе, какие они неровные, эти сопки.

Его собеседник кивнул и что-то записал в блокнот. На нем была милицейская форма с новенькими погонами — капитан.

— Ну, а если буран? Снегопад? Такое, наверно, уже бывало раньше? И не раз.

— Тогда — вездеход. Он идет, конечно, не так быстро, но часа за три доползает. Груза поднимает столько же и вообще надежнее, но мы пользуемся им только в крайнем случае. Ближе, чем на полкилометра, к «Карточному домику» подъезжать ему запрещено. Так что приходится все перегружать в обычные сани и дальше тащить так — когда лошадью, когда вручную. Удовольствие, сами понимаете, маленькое.

— Да, кстати, я с самого начала хотел спросить: почему так далеко от города и от шоссе? И почему нельзя близко подъезжать? И откуда такое название: «Карточный домик»?

— Вы правы — это существенно. Если бы позволяло время, я прочел бы вам подробную лекцию, но времени нет — постараюсь покороче.

Оба вернулись к длинному столу, делившему кабинет на две равные части. Один конец стола был застелен листом ватмана и уставлен пепельницами, коробками с сахаром и печеньем, бутылками минеральной воды. Пожилая женщина с пышными седыми волосами, сидевшая там же, разлила по чашкам дымящийся кофе.

— Спасибо, Тамара Евгеньевна. Нет, сахара не надо. Может, товарищу капитану... Тоже нет? Боюсь, что за эту ночь нам предстоит опорожнить не один кофейник.

Он опустился в кресло и так сильно расправил плечи, что оленя на его свитере словно бы отбежали один от другого.

— Вы спрашиваете, почему «Карточный домик»? Видите ли, за последние десять лет в науке все чаще приходится пользоваться сверхчувствительными приборами. И, с точки зрения этих приборов, жизнь в городах — сплошная тряска.

Проедет груженный самосвал, заработает где-нибудь по соседству отбойный молоток, и их стрелки немедленно начнут прыгать из стороны в сторону. Установите их на самом прочном, массивном фундаменте, им все равно будет казаться, что он постоянно дрожит, вибрирует, вздрагивает. И они отказываются работать в подобных условиях с нужной точностью.

— Этакie принцессы на горошине, — вставил капитан.

— Вот-вот. Что же получается? Микроскопические колебания почвы и зданий могут исказить, свести на нет результаты тончайшего многодневного эксперимента. И добро бы только механические вибрации. А что творится в эфире! У вас есть радиоприемник?

— Конечно.

— Если у проезжающего троллейбуса сорвется штанга или нерадивая хозяйка в соседнем квартале устроит короткое замыкание, вы услышите потрескивание — и все. А для некоторых чувствительных радио- и телесистем это будет тем же самым, что, к примеру, для телескопа — птица, усевшая на его объектив. Поэтому и было решено для всех сверхчутких, сверхтонких, сверхчувствительных «принцесс» выстроить специальный институт. Вдали от всего трясуемого. На идеально спокойной земле. С идеально чистым, непоколебленным эфиром. Наш «Карточный домик».

— Наш? Вы все еще называете его нашим, — с раздражением сказала женщина.

Бородач раздавил в пепельнице окурок и успокаивающе похлопал ее по руке.

— Тамара Евгеньевна была против того, чтобы этот институт взваливали нам на шею. Действительно, тяжеловато. Но уж очень место для строительства было удобным. Промышленных предприятий поблизости никаких. Сейсмическая активность (отголоски дальних землетрясений) почти не чувствуется. И в эфире все спокойно — даже грозы редко бывают. Так что пришлось согласиться. До сих пор, кажется, справлялись, и неплохо, а тут... Тут такое дело, что без вашей помощи не обойтись.

Капитан задумчиво пощипал себя за переносицу.

— Да, задача... Что же там произошло, в вашем «Карточном домике»? И произошло ли? Ведь пока единственное событие, достоверно известное нам, — обрыв связи.

— И пропажа вездехода с водителем.

— И еще выстрелы у домика лесника, услышанные Андреем Львовичем по радиотелефону.

Капитан положил перед собой блокнот и повертел в пальцах кофейную ложечку.

— Давайте еще раз по порядку. Первая версия, самая простая: в «Карточном домике» испортился передатчик. Радио — вещь хрупкая. Лампы, конденсаторы, питание... Раньше такое случалось?

— Да, один раз. Этим летом. Но тогда через полчаса починили. Мы даже встревожиться не успели по-настоящему. Честно говоря, и сегодня надеялись, что то же самое.

— Надеялись и поэтому не очень спешили что-нибудь предпринимать?

— Видите ли... Это не так просто. Вертолет был как раз послан на задание. Там к северу у нас еще один филиал. Что же касается вездехода...

— Андрей Львович — вы опять?! — Тамара Евгеньевна возмущенно всплеснула руками. — Опять собираетесь всю вину взять на себя?

— С чего вы взяли?

— Вы опять заговорили тоном провинившегося школьника, готового у всех просить прощенья.

— Я, собственно...

— А вы? — Тамара Евгеньевна решительно повернулась к капитану. — Что вы имеете в виду под «не спешили предпринимать»? То, что директор научного городка в выходной праздничный день немедленно бросает все семейные дела и мчится в свой кабинет по первому знаку тревоги, — это называется «не спешили»? Через полчаса вызван обратно вертолет, организовано постоянное дежурство в радиорубке, вездеход снаряжен и заправлен топливом — тоже «не спешили»? А где искать водителя? И не любого, а такого, чтоб знал дорогу к «Карточному домику»? Ну, где? Где он проводит свой выходной, первый день Нового года? Догадаться.

— С детьми гуляет?

— Холодно.

— С женой в кино?

— Еще холодней. Причем холоднее — в буквальном смысле. На подледной рыбалке — вот где. Пять километров вверх по реке. Попробуйте-ка отыскать его там, попробуйте оторвать от лунки этого маньяка, когда у него, видите ли, как раз начался клев.

— Ну, Тамара Евгеньевна, полно вам. Какой же Сазонов маньяк. Вполне солидный, надежный человек, опытнейший водитель...

— А когда вызванный вертолет наконец вернулся и еле смог приземлиться под начавшимся ветром, — по-вашему, надо было немедленно отправлять его в новый полет? На встречу пурге? Или оставить все другие попытки установить связь, а вместо этого преспокойненько усесться в кресле и, постукивая ложечкой по чашке, начать искать виноватых?

Капитан покраснел и отбросил ложечку так, что она скатилась с ватмана на полированную поверхность стола.

— Извините. Я, кажется, схлопотал выговор. Впрочем, вполне справедливый. Еще раз прошу простить.

— Давайте не будем отвлекаться, — смущенно теребя бороду, вмешался директор. — Мы рассматривали первую версию: случайные технические неполадки в передатчике. Какие у нас «за», какие «против»?

— Случайности, конечно, бывают на свете, и любая техника может отказать. Но почему тогда замолчало радио вездехода? Совпадение случайностей? По теории вероятностей это невозможно.

— Последнее сообщение от Сазонова мы получили часа в три. Он сказал, что добрался благополучно, остановился, как положено, за полкилометра. Ничего необычного в «Карточном домике» не заметил, если не считать, что в некоторых окнах горит свет. Днем — немного странно? Правда, издали из-за начинавшейся пурги видно было плохо. Последние слова его были: «Оставляю вездеход, иду в сторону домика». И все.

— Вот видите. Значит, радио у этого рыболова работало нормально. То есть нет сомнения, что и с ним что-то случилось. Поэтому я считаю, что первую версию можно отбросить.

— Что же остается?

— Второе возможное объяснение: случилось что-нибудь серьезное. Взрыв. Пожар. Там хранилось что-нибудь взрывоопасное? Ядохимикаты? Радиоактивные вещества? Припомните подробно.

— Да, во второй лаборатории был уран. Но очень немного и вполне надежно упакованный. Бактериологи, вирусологи — эти слишком опытные и осторожные. Они вне подозрений. У химиков, кажется, нитроглицерин, но тоже чуть-чуть — в лабораторных дозах.

— А у Сильвестрова? — вмешалась Тамара Евгеньевна.

— Нет, у него ничего опасного.

— Но сам его аппарат? Эта мерзопакостная «Мнемозина»?

— Тамара Евгеньевна, — директор старался говорить подчеркнуто спокойно, не поднимая глаз от сцепленных пальцев, — я вынужден третий или четвертый раз напомнить вам: ученый секретарь большого научного городка не может позволить себе поддаваться чувству личной антипатии к кому бы то ни было.

— Да я не личной! То, что этот Сильвестров мне мало-симпатичен, не играет здесь никакой роли. Сама идея — вот что меня возмущает. И кто бы ни занялся ее разработкой, пусть даже вы, — я все равно была бы против. Залезать в человеческую память! Стирать в мозгу «ненужные» воспоминания. Ненужные?! А кто это может определить, какие нужные, какие — нет. И как только разрешили заниматься подобными исследованиями!

— Кто этот Сильвестров? — спросил капитан.

— Заведующий четвертой лабораторией в «Карточном домике». От Академии медицинских наук. Тамара Евгеньевна сильно преувеличила — никто не собирается вторгаться в человеческую память. Речь идет лишь о лечении психических травм или душевных расстройств, вызванных тяжелыми воспоминаниями. Об ослаблении отрицательных эмоций, когда они делаются опасными для здоровья.

— О да! Покончить с любым человеческим горем радио-механическими средствами. Прекрасная мысль!

— А что за аппарат у него? Как вы его называли?

— «Мнемозина». Так звали богиню памяти у древних греков. Он работает на принципе биорадиоволн. Вы, наверно, слышали о биотоках мозга? Это связано одно с другим, но биологическое радио — область новая и очень мало изученная. Идея Сильвестрова: установить радиосвязь с клетками головного мозга, как бы нащупывать их частоты и затем включать глушащее устройство, добиваться того, что академик Павлов называл торможением некоторых участков коры больших полушарий.

— Действительно, выглядит довольно рискованно. Удалось ему чего-нибудь добиться?

— Безусловно. Правда, много времени ушло на отладку системы, монтаж, первые пробные опыты на животных.

И все же прошлой весной он смог уже кое-что показать (каждая лаборатория время от времени делает сообщения о своей работе для всего городка — обмен идей, расширение кругозора). Сильвестров демонстрировал любопытные феномены: собаку, дружно живущую с котом, лису — с курами.

— Дрессировка?

— В том-то и дело, что нет. Это сразу бросалось в глаза. Животные вели себя так, будто у них... Будто они снова вернулись в младенчество, стали щенком и котенком, лисенком и цыплятами. Видели в зоопарке площадку молодняка? Вот и у этих была точно такая дружба. Доклад произвел большое впечатление, но сам Сильвестров не выглядел довольным. «Да, — говорил он, — я могу снять память слой за слоем. Да, могу остановиться в любой момент и оставить животное в заданном возрасте — год, шесть месяцев, два. Но ведь задача состоит не в подавлении всей памяти — это было бы преступлением, — а в выборочном нащупывании болезненных мучительных воспоминаний. И до этого так же далеко, как в начале пути». Помню, сам он показался мне тогда очень усталым и измученным. Более подробно о его работе рассказать не смогу — не специалист. Да и вряд ли здесь, в научном городке, кто-нибудь сможет.

— Если не считать Русадзе, — негромко произнесла Тамара Евгеньевна. — Она прилетела позавчера последним рейсом вертолета.

— Этери прилетела? Что же вы сразу не сказали. Это ассистентка Сильвестрова, работает вместе с ним в «Карточном домике».

Капитан быстро повернулся к Тамаре Евгеньевне.

— Надо пригласить ее сюда. Где она остановилась?

— В этом же здании, в другом крыле. Но боюсь, она уже легла спать.

— Даже если спит — придется разбудить.

Голос его почти не изменился, лишь паузы между словами стали чуть подлиннее. Тамара Евгеньевна молча кивнула и вышла из кабинета.

Директор вытащил новую сигарету из пачки, вставил ее под усы и сказал:

— Мы пока рассмотрели лишь две версии. И почему-то упорно не хотим касаться третьей. А ведь она бы все объяснила.

— Вы имеете в виду нападение неизвестных злоумышленников?

— Да.

— Действительно — и выстрелы, и молчание передатчика, и пропажа вездехода с водителем... Все укладывается в эту версию, и никаких противоречий не остается. Формально мы не имеем права полностью ее отбрасывать.

Директор встал, подошел к окну и некоторое время всматривался в летящую белесую муть с каким-то подобием надежды — не слабеет ли? Потом, пробормотав: «У-у, стихия чертова!» — быстро вернулся к столу.

— Слушайте, товарищ капитан...

— Сергей Тимофеевич.

— Сергей Тимофеевич, а не слишком ли мы затянули наши обсуждения? Не пора ли нам кончить размышлять да прикидывать и перейти к делу? Собрать всю снегоочистительную технику, которая ползает сейчас по улицам, выстроить ее в колонну и бросить в поход во-о-он к тому маленькому квадратику в углу карты.

— Прямо сейчас? Ночью?

— Ночью, конечно, по бездорожью не дойдут. Но хоть первую четверть пути — по шоссе. Чтобы к рассвету были за мостом. Так сказать, на исходных позициях.

— До рассвета еще далеко.

— Что же, нам так и сидеть сложа руки?

— А что вы предлагаете? Оставить город без защиты? Он к утру будет завален снегом по самые окна. Завтра рабочий день — никто не сможет попасть на работу. Прекратится подача воды, электричества, «скорая помощь» не приедет к больному, в магазины не привезут хлеб. Да что мне вам объяснять... Жизнь остановится.

— А если там остановится чья-то жизнь? Может, уже сейчас останавливается. И не одна. Там сорок человек. Сорок жизней.

Капитан помолчал, посмотрел на карту, на белый экран, потом отпил глоток остывшего кофе и задумался, разглядывая узор на чашке — серебряные листья по темно-синему фону.

— Знаете, Андрей Львович, я вспомнил сейчас одну историю военных времен. Может, она не совсем к месту, но все-таки... Начало второй мировой войны, тысяча девятьсот сороковой год. Фашистская Германия захватила уже Австрию,

Чехословакию, Польшу. И явно не собирается остановиться на этом, готовит новые удары. Но где? В каком месте ждать нападения? И вот английская разведка получает сообщение: завтра, девятого апреля, немцы высадятся в Норвегии. Что ж, английский флот гораздо сильнее немецкого. Стоит только перебросить его от берегов Англии к берегам Норвегии — и любой немецкий десант будет разгромлен. Но сообщение о высадке только одно — от одного-единственного агента. А что, если он ошибся? Или подкуплен? И удар на самом деле готовится по самим Британским островам. Вот я назначаю вас командующим английским флотом. Отдали бы вы приказ идти к Норвегии? Рискнули бы оставить без защиты свой берег?

— Не знаю. Ответственность, конечно, ужасная, но... Наверно, я... Впрочем, нет. Приказал бы не двигаться с места.

— Вот и английское адмиралтейство поступило так же.

— И что?

— Девятого апреля тысяча девятьсот сорокового года все основные города и порты Норвегии были захвачены немцами одновременным ударом с моря и с воздуха.

— Ага! Вот видите. Пример оборачивается против нас.

— Возможно. Я только хочу сказать: что бы мы ни решили, ответственность все равно ляжет на нас. И огромная. Но до утра мы все равно бессильны. Единственное, что нам пока остается — думать. Перебрать все возможные варианты. Чтобы те, кто утром отправятся на помощь, хотя бы знали, что их может ждать. Чтобы, по крайней мере, их не постигла судьба водителя вездехода.

— Что значит «те, кто отправятся»? Да я сам...

В это время дверь открылась, и директор быстро пошел навстречу вошедшей вслед за Тамарой Евгеньевной девушке — маленькой, черноволосой, шубка наброшена на плечи, тоненькая рука сжимает меховой воротник у горла.

— Этери, до чего вы кстати! Вы просто не представляете, как вы нам нужны.

Девушка, шурясь на яркий свет, слабо улыбнулась ему, но вдруг, заметив за столом капитана, отдернула протянутую руку и чуть отшатнулась.

— Милиция? Что-нибудь случилось? Почему вы меня не предупредили про милицию?

Тамара Евгеньевна молча пожала плечами, взяла пустой кофейник и вышла из комнаты.

6

До сих пор Стеша считала, что на свете нет и не может быть ничего страшнее, чем выйти на сцену и забыть слова роли. Когда такое снилось, она просыпалась и бежала босиком к книжной полке — подучить. Лавруше нынешним летом пришлось своими руками пристрелить истерзанного совой зайчонка — в его жизни это было пока самое страшное. Киля уже привык ко всем своим несчастьям и боялся лишь одного: подбежит он однажды утром к своим новым друзьям, а они ему снова скажут: «Не ходи за нами». Димон боялся зубного врача, но в сто раз сильнее боялся, что Стеша узнает об этом. То есть каждый из них уже имел какое-то понятие о том, что значит «страшно», «очень страшно», «мороз по коже».

Однако такого переживать им еще не приходилось.

Они, не сговариваясь, попятись обратно в кафе, загнули дверь и замерли там в полутьме, тяжело дыша и стараясь хоть локтем, хоть костяшками пальцев касаться друг друга.

— ...ак он... ак он на меня... оглядел... — прошептал Киля, проглатывая половину согласных.

Стеша нашла руку Димона, вцепилась в нее и с надеждой заглянула в лицо:

— Дим?... А они живые?

— Не знаю. Надо бы посмотреть.

— Ой, не смей!

— Тебя не поймешь. То посылаешь искать-помогать, то не пускаешь...

— А вдруг нас заметят?.. Те, другие.

— Кто?

— Которые это сделали.

— Ты думаешь, что кто-то пришел раньше нас и...

Они прислушались.

Полумрак и тишина кафе, казавшиеся раньше уютными, теперь грозно надвинулись на них; от черного квадрата окна опять повеяло жутью. Даже елочные украшения превратились в десятки злых глазок, мерцающих из угла.

Лавруша тем временем, согнувшись и бормоча что-то себе под нос, возился с дверной ручкой — приматывал проволокой к крюку в стене.

— Готово. Теперь не войдут.

Димон скептически покосился на его работу и прошептал:

— Дернут посильнее — и отлетит.

Все же за запертой дверью было спокойнее. На всякий случай они отошли подальше и уселись за крайний столик.

— Никогда не думала, что от страха может быть так больно внутри, — созналась Стеша. — Хуже, чем операция без наркоза.

— Без наркоза сейчас не делают.

— Мне делали, — сказал Киля. — В горле. Но там быстро — раз, и все. А тут...

— Эх, ружьишко бы какое-нибудь. Хоть подводное. Или дедушкину двустолку.

— Зачем тебе?

— Попугать, если кто войдет.

— А может, они просто отравились все? Может, съели за ужином какую-нибудь дрянь и не заметили.

— Ага. Или сонная болезнь. Может, здесь какого-нибудь снотворного газу напущено. И мы тоже через пять минут повалимся все и будем лежать так на полу. Без-ды-хан-но.

— Вот и надо что-то предпринимать. Пока еще не поздно.

— А что? Убежать? Опять в лес, на ветер?

— Ну, нет. Еще неизвестно, что страшнее. Замерзнуть или тихонько заснуть от газа.

— Тсс-с-с... Слышите?

Они замерли, подняв лица к потолку.

— Что там?

— Кто-то ходит.

— Ерунда... Послышалось.

— Ну, хватит, — Димон встал и задернул молнию на своей куртке. — Чем сидеть здесь и трястись без толку... Я пойду посмотрю.

— И я с тобой, — подпрыгнул Киля. — Можно?

— Ишь какой приткий стал. А нога?

— Плевать я на нее хотел, на ногу.

— Нет, — подумав, объявил Димон. — Раненые и женщины останутся здесь. Лавруша, идешь?

— Раз я не раненый и не женщина...

— А вы — заприте снова за нами. И никого — слышите? — никого чужого не пускайте.

Стеша хотела что-то возразить, но они замахали на нее и поспешно, словно боясь растерять свою решимость, оттоптали дверную ручку и выскользнули в вестибюль.

...Человек лежал все так же — одна рука подогнулась под туловище, другая вытянута вперед. Будто плыл посуху кро-

лем и голову вывернул специально набок, чтобы глотнуть воздуха. От начинавшейся лысины лоб казался вдвое больше нормального. Димон, стараясь не глядеть на двух других, присел рядом и ошупал эту выброшенную вперед руку.

— Не знаешь, где пульс должен быть?

— Не знаю, — прошептал Лавруша. — У меня вот здесь: на запястье под часами.

— Ага, нащупал. Сла-а-абенький...

— Все-таки живой.

Набравшись духу, Димон взял лежащего за плечо и сильно потряс.

— Эй, очнитесь, пожалуйста. Что с вами? Вы ранены, да?

Тот даже не пошевелился. Только голова его безвольно перекатилась по полу со скулы на ухо и вывернулась еще сильнее. Правда, никаких следов крови ни на одежде, ни на полу вокруг не было заметно.

— У Стеши в рюкзаке есть одеколон, — сказал Лавруша. — Она всегда вместо йода с собой одеколон носит. И стрептоцид. Может, сходить?

— Нужен ему сейчас твой одеколон. Давай лучше посмотрим, что с другими.

Они перешли к тому, который сидел у стены с открытыми глазами. Он тоже был жив и негромко дышал сквозь стиснутые зубы. Пижамная куртка с вышитой на кармашке буквой «Д», мягкие домашние брюки, шлепанцы на босу ногу. Казалось, человек только что встал с кровати и спустился вниз посмотреть, что происходит.

Высоко поднятые брови придавали выражению его лица что-то детское.

Возникало впечатление, будто он просто очень крепко задумался, и достаточно лишь чему-нибудь живому попасть под его остановившийся взгляд, как он придет в себя. Но нет, — Димон и Лавруша по очереди, преодолевая жуть, заглядывали ему в глаза, но они оставались такими же неподвижными, смотрели сквозь них в пустоту.

Около третьего, лежавшего на лестничной площадке, можно было не задерживаться. Та же неловкая поза, то же детски-удивленное выражение лица. Одет он был в ватник и сапоги, и рядом валялась меховая шапка с блестящим значком — скрещенные дубовые листья.

— Лесник, — прошептал Лавруша.

— А вот и двустолка, — обрадовался Димон.

Действительно — подальше, из-под самых ступеней выглядывал обшарпанный приклад старой «тулки». Димон поднял ее, нажал на рычаг, надломил ствол. Блеснула красная медь двух нестреляных капсулей.

— Заряжена...

Они переглянулись.

Лавруша сжал губы и решительно замотал головой. Димон вздохнул, положил «тулку» на место и прикрыл ее краем лестничного ковра.

— Мне отец наказывал, — как бы извиняясь, объяснил Лавруша: — Руки трясутся — за ружье не берись.

Димон вытянул руку и посмотрел на пальцы. Они заметно дрожали.

От площадки, где они стояли, лестница делала поворот и поднималась дальше к стеклянным дверям второго этажа. За ними налево и направо уходил пустой коридор, выглядывала ярко-зеленая ветвь какого-то растения. Было очень светло и очень тихо. Пока они медленно, одну за одной одолевали оставшиеся ступени, растение открывало им все новые и новые ветви и на самом верху показало, как подарок, как приз за восхождение, роскошную гроздь желтых цветов.

— Если и там одни полутрупы валяются... — пробормотал Димон.

— Тогда что?

— Не знаю... Уж лучше бы хоть чудище — только чтоб живое.

Они подошли к стеклянным дверям и осторожно выглянули — один направо, другой налево. Направо ничего не было видно из-за растения, из-за этого экзотического, назло пурге цветущего дерева в кадке; поэтому Лавруша повернулся и тоже стал смотреть налево.

Почему-то с первого взгляда делалось ясно: нет, это не санаторий. И не дом отдыха.

Хотя и дальше по стенам вилась всевозможная зелень, и кое-где висели картины, и пол был застлан ковром, невозможно было усомниться в том, что все здесь устроено для дела, что здесь — работают.

Самым не санаторным, не домотдыховским были два никелированных рельса, проложенных под потолком по всей длине коридора. Под ними через ровные интервалы темнели проемы дверей, обитых кожей, на каждой — табличка. То ли полка, то ли подвесная скамейка застыла в воздухе неподале-

ку от лестницы. Она была зацеплена двумя роликами за рельсы. Получалось что-то вроде маленькой подвесной железной дороги.

И ни души.

Ни на полу, ни у стен, ни за цветущим деревом вплоть до окна, темневшего в дальнем конце коридора, не было ни одного человека — ни лежащего без чувств, ни сидящего, ни идущего.

— Никого, — прошептал Лавруша. — Слушай, а вообще-то мы хотим кого-нибудь найти? Или, наоборот, хотим, чтоб никого не оказалось? Я уже запутался, не знаю, чего хотеть.

— Конечно, найти.

— Кого?

— Кого угодно. Пусть даже не совсем живого, но чтобы говорил. Чтоб объяснил, что у них происходит.

— Может, за этой дверью... Или за той?

— Может быть.

— Только давай не стучаться. Послушаем, и все.

Димон пожал плечами — там видно будет — и ступил в коридор. Нога его сразу утонула в чем-то очень мягком. Видимо, весь пол был устлан толстым поролоновым ковром. Лавруша вошел вслед за ним, невольно заулыбался от этой неожиданной мягкости под ногами, потом приблизился к подвесной скамейке и прочел написанное на ней объявление (почти в стихах):

«Любой груз весом больше пяти килограмм ты нести не должен сам. Положи его сюда и доедешь без труда».

«Без труда» кто-то зачеркнул и написал сверху карандашом: «вовсюда».

Мягкий пол, зелень и тишина кругом, шутовское объявление — от всего этого Лавруша так осмелел, что сам уселся на скамейку-сиденье и легонько оттолкнулся ногой. Ролики зашуршали по блестящим рельсам. Сиденье стронулось и беззвучно понесло Лаврушу «больше пяти килограмм» вдоль стены, мимо дверей с табличками: «ЛАБ. ВИБР.», «ЛАБ. СЕЙСМ.», «ЛАБ. ХИМ.», «РАДИОЛАБ.» и так далее.

Димон, утопая по щиколотку в ковре, шел рядом и пробовал нажимать на дверные ручки.

Ни одна не поддавалась.

Картины, висевшие по стенам, оказались по большей части фотографиями в рамках: цветок одуванчика, сосульки со сверкающими каплями, гроздь еловых шишек, лось в ку-

стах, летящий тетерев. По-видимому, люди, работавшие во всех этих «лабах», так уставали за день возиться со своими колбами, приборами, окулярами, проводами, что им хотелось, чтобы уже в коридоре глаз их отдыхал на чем-то другом — живом, солнечном, растущем.

Темное окно по мере приближения к нему начинало отсвечивать морозными узорами. Димон нажимал на ручки дверей все решительней. Он было уже совсем уверился, что на этом этаже никого нет, поэтому, когда последняя дверь внезапно поддалась, невольно вздрогнул.

Лавруша, ехавший следом, тихо ахнул, зажал себе рот рукой, сполз со скамейки. Оба замерли, уставясь на табличку «ЛАБ. БИОКОНТР.».

Но нет, ничего дурного пока не произошло.

Наоборот, в образовавшуюся щель потянуло таким нестрашным животным запахом, что они почему-то с облегчением вздохнули и почти без страха переступили порог.

Маленький домашний зоопарк — вот чем казалась эта комната на первый взгляд. По стенам одна на другой стояли клетки, вернее, просторные деревянные ящики, обтянутые с открытой стороны проволочной сеткой. Большинство животных спало. Несколько птиц наверху перепорхнули с планки на планку, но как-то неумело. Одна даже сорвалась и судорожно попыталась взлететь обратно, испуская негромкое жалобное щебетанье.

— Гляди, — ахнул вдруг Лавруша и потянул Димона к нижней клетке справа.

— Чего? — не понял Димон. — Лиса как лиса.

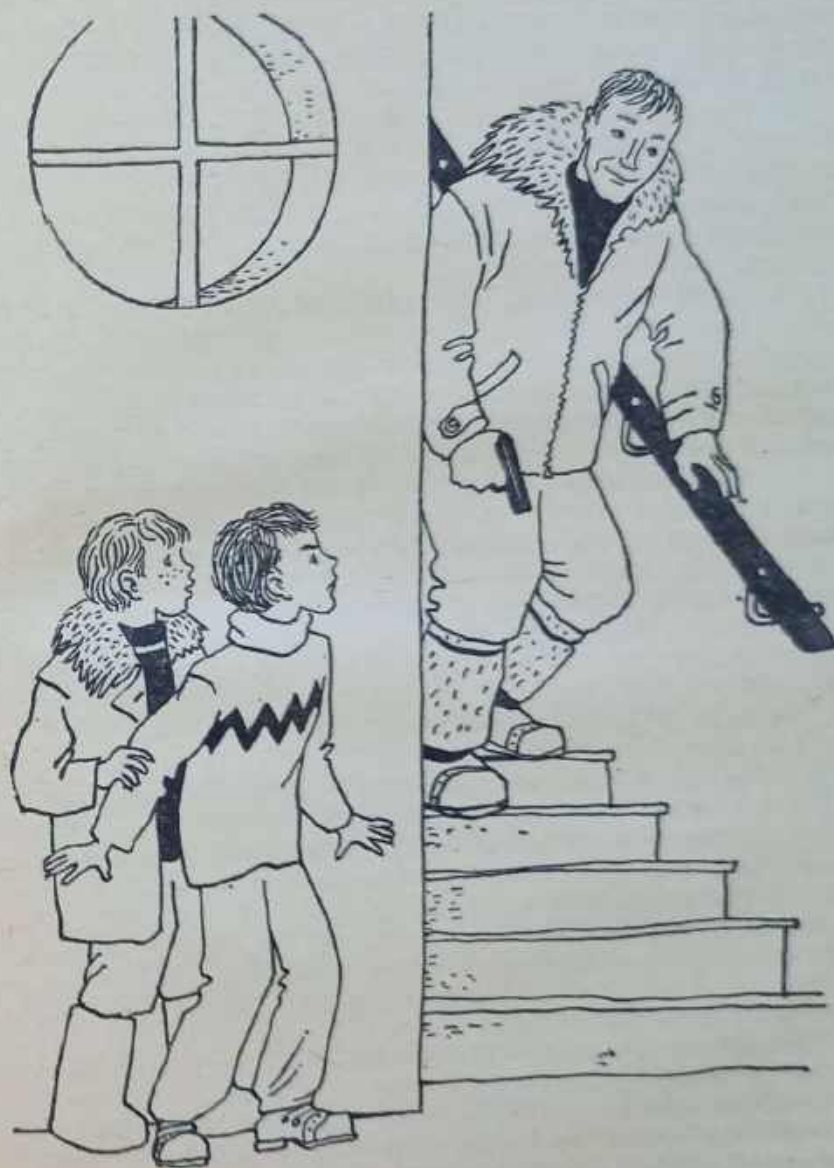
— А там — в глубине.

Они присели на корточки и ясно увидели в полумраке лису и двух кур, преспокойно клевавших зерна, засыпанные в деревянный желобок. Рядом же, через стенку от них, в пушистом посапывающем комке из лап, хвостов и голов ясно можно было разглядеть нечто еще более поразительное: двух кошек, спящих в обнимку с довольно здоровой дворняжкой.

— Чудеса дрессировки, — пробормотал Димон.

— Да, если только... — начал было Лавруша, но так и застыл, округлив губы на букве «о».

Ибо в этот самый момент они наконец услышали у себя над головами то, чего все время ждали и надеялись не дожидаться, хотели услышать и боялись — явственные человеческие шаги.



Одних этих шагов было бы достаточно, чтобы заставить их сердца колотиться с сумасшедшей скоростью. Но будто кто-то решил испытать предел их храбрости, самообладания и выдержки: сразу вслед за шагами наверху раздался неясный шум, стукнуло распахнувшееся окно и грохнул выстрел. Лиса открыла глаза и вскочила на ноги, насторожив уши. Куры заклохтали и забегали вокруг ее лап, будто ища защиты.

Прошло еще несколько секунд, заполненных бешеным стуком сердец и прерывистым дыханием, и наверху грохнуло еще раз.

Этот второй выстрел хлестнул по их натянутым нервам как кнутом. Не помня себя, не взглянув друг на друга, Димон и Лавруша бросились бежать, вылетели из комнаты-зоопарка, краем глаза заметили какое-то странное красное свечение за морозными узорами окна, но, не успев даже задуматься, откуда оно, вихрем пронеслись по коридору мимо фотографий, мимо дверей, мимо самоходной скамейки и выскочили на лестницу как раз в тот момент, когда по ней сверху — да-да, прямо на них, и уже не спрятаться — в расстегнутом комбинезоне и унтах, меховой капюшон откинут назад с молодежеского усмехающегося лица — спускался человек — огромный, широкоплечий, с большим черным пистолетом в опущенной правой руке.

7 — Я слышал, что бывают еще такие темные бабки — пугают маленьких детей милиционером. — Капитан встал от стола и пошел навстречу вошедшим. — И если ребенок впечатлительный, испуг может остаться у него на всю жизнь.

— Моей темной бабке некогда было меня пугать: она читала лекции в университете, — холодно сказала Этери. — Но милиция здесь, в научном городке, в такое время... Что-нибудь случилось?

— Кроме пурги, ничего существенного. — Капитан взял ее за рукав шубки и мягко потянул к столу, делая оставшимися знаками, чтоб не вмешивались. — Просто нам очень нужна одна консультация, а с «Карточным домиком» связи по-прежнему нет. Может, вы нам поможете? Дело такое срочное, что мы решили разбудить вас посреди ночи.

— Я не спала, — сказала Этери, присаживаясь на край стула, придвинутого ей директором.

Остальные тоже уселись на прежние места.

— Андрей Львович сказал мне, что вы работаете в «Карточном домике» вместе с доктором Сильвестровым. Над этой машиной памяти... или антипамяти — как ее?..

— «Мнемозина».

— Вот-вот. Расскажите нам о ней поподробней.

— Но что же я могу рассказать? — Она снова окинула всех тревожным взглядом. — Ведь мне поручена только техническая часть — монтаж схем, наладка, настройка. Я кончала радиотехнический факультет. Физиология мозга, биоэлектроника — в этом я почти не смыслю.

— Я — тем более. Но нам сейчас нет нужды входить в научные подробности. Расскажите просто, как проходили опыты, с чего вы начинали, на чем спотыкались. Так сказать, краткую биографию «Мнемозины».

— Начинали мы с простейшего — вырабатывали условный рефлекс у морской свинки, а потом при помощи «Мнемозины» снимали его.

— Устраивали сеанс тормозящей радиосвязи?

— Ого, какие термины вы знаете.

— Этери! — укоризненно воскликнул директор.

— Да, сеанс торможения. Пятнадцать—двадцать секунд, и животное начисто забывало свой рефлекс. Но сможем ли мы вернуть память — вот в чем было главное условие задачи. Мы попробовали записывать весь радиосеанс на магнитофонную ленту и потом пускать обратно. Сначала ничего не получалось. Требовалась очень высокая точность и чистота записи, а в городе все время помехи. Но когда нам дали место в «Карточном домике»...

— Вот видите, видите! — воскликнул директор, оборачиваясь к Тамаре Евгеньевне.

Та протестующе пожала плечами.

— Но разве я когда-нибудь возражала против полезности такого института? Я только говорила, что для нашего научного городка он будет непосильной обузой и поэтому...

— Не будем сбивать Этери, — мягко вмешался капитан. — Итак, вам дали помещение в «Карточном домике»...

— ...и тогда все пошло гораздо быстрее. Мы добились нужной чистоты и научились возвращать память еще быстрее, чем отнимали ее. Поворот переключателя на растормажива-

ние, лента прокручивается обратно, и животное снова «помнит» свой рефлекс — подпрыгивает от малейшего звончка.

— А вы — от радости?

— Бывало и так. Но недолго. Стоило нам перейти к следующей серии опытов — к полному затормаживанию мозга, — как животные начали погибать. Мы не могли понять, что происходит. Нам казалось, что должен наступить какой-то целебный сон, после которого можно будет вернуть память, записанную на ленте. Полностью или чуть урезанной — как захотим. А они погибали.

— Да, я припоминаю, — вставил директор. — Сильвестров докладывал об этом. Надо отдать ему должное — рассказывал он не об одних успехах, трудностей не скрывал.

— Потом мы наконец догадались. Дело в том, что «Мнемозина» затормаживала клетки мозга без разбору. Покончив с клетками памяти, она принималась за другие — за те, которые управляют дыханием и сердцебиением. И отключала их. Наступала смерть.

— Что же вы придумали? Отключали машину после того, как животное заснет?

— Нет, этого было недостаточно. Вернее, момент был слишком неуловим. Иногда смерть наступала раньше полного засыпания. Поэтому пришлось вводить в машину новый блок: ДЖЦ. Запомните, товарищ капитан: ДЖЦ — дублер жизненных центров.

— Что же он из себя представляет?

— Приемно-передаточное устройство и еще одну магнитофонную ленту. Потоньше первой, но подлиннее. Она как бы принимает на себя управление дыханием и сердцебиением.

— И животное спокойно может спать, пока тонкая лента не кончится или не оборвется?

— Да.

— Оказывается, все очень просто.

— Да? Знаете, сколько мы провозились с этой «простотой»? Два года.

— Но пока сон не наступил, тонкая лента не нужна?

— В общем-то нет. Но в следующих опытах мы ее все-таки каждый раз включали. Для страховки. Даже вмонтировали автоматическое включение — одновременно с основной лентой, с широкой.

— Следующие опыты — это какие? Ощенячивание собак и оцыплячивание кур?

— Что здесь смешного?

— Извините. Я просто не знал, как назвать их поточнее.

— Как раз на этом этапе мы обнаружили очень интересный феномен. «Мнемозина» довольно легко и быстро стирала свежие воспоминания, но чем дальше она продвигалась в глубь памяти, тем ей становилось труднее. Справиться с воспоминаниями детства — на это иногда уходило часа два. И лишь потом наступал сон.

— Поддерживаемый тонкой лентой?

— Непременно. Но до сна мы старались больше не доводить. Оставляли, как вы выражаетесь, в шенячем и цыплячем возрасте. Мы пробовали и на других животных: на кошках, на лисах. Правда, сам Сильвер... простите — доктор Сильвестров...

— Вы зовете его Сильвером?

— Да. Он сам про себя часто так говорит в третьем лице: «Старина Сильвер считает...», «Старина Сильвер вами доволен...», «Не советую вам сегодня спорить со старым добрым Сильвером...» «Добрым» — вот уж не сказала бы. О нет, не подумайте, что я жалуюсь. Мне очень нравилось с ним работать. Почти каждый день — новая задача, и всегда приходится чуть переходить за грань известного, отработанного. И лично ко мне он всегда относился очень хорошо. Но все равно — «добрый» не то слово. Не идет к нему совершенно.

— Вы сказали «нравилось». Почему в прошедшем времени?

Этери гневно посмотрела на него, потом вдруг потупилась и умолкла. Но капитан сделал вид, будто не замечает ее смущения, и продолжал расспросы.

— Вы прилетели из «Карточного домика» позавчера, тридцатого декабря, верно? Вас послали по какому-нибудь делу?

— Нет, я сама. У меня накопились свободные дни, и я решила их использовать.

— Скажите, а не заметили вы чего-нибудь странного перед вылетом? Все было нормально? Никаких признаков тревоги, никаких аварий?

— Тревоги? Наоборот, все очень радовались. Елку украшали, рисовали плакаты, знаете — шаржи, послания в стихах и все такое. Репетировали шуточные номера. У нас там развлечений мало, так что к праздникам готовятся всерьез. И всегда бывает очень весело.

— Бывает так весело, а вы вдруг уехали. Почему?

— Мне нужно было, — тихо сказала Этери и, поежившись, снова ушла в свою шубку, как в раковину.

Капитан переглянулся с директором, потом посмотрел на часы и покачал головой.

— Послушайте, Этери, — начал директор. — Я вижу, что вы чего-то недоговариваете. И поверьте — в другой раз я бы не стал тянуть из вас клещами. Ведь вы меня знаете. Я хитрый. Дождался бы, когда вам самой захочется рассказать, дотерпел бы. Но теперь не могу. Дело слишком серьезное и срочное. Вы должны рассказать все, что знаете. Почему вы вдруг оставили «Карточный домик»? Что там произошло? Вы испугались чего-нибудь? Поссорились с Сильвестровым?

— Я испугалась... Да... Испугалась... — прошептала Этери.

— Но чего?

— Что он сам... Что он не послушается меня и сам начнет этот опыт... Без меня, в одиночку...

— Какой опыт? Что он задумал?

— Но я обещала ему никому не говорить.

— Он запугивал вас? Грозил?

— Нет, конечно, нет. Но если узнают у нас в академии... Его могут совсем снять с этой работы, запретить опыты.

— Этери, там, в «Карточном домике», что-то случилось. Что-то очень скверное. Речь идет о жизни людей. В том числе и о жизни Сильвестрова. Поэтому говорите все, что знаете. У нас очень мало времени, поймите!

— Хорошо... Я расскажу... Понимаете, он спешил. Он очень спешил. Еще пять лет назад, когда он только начинал свою работу, он уже тогда страшно спешил. Потому что... Про это мало кто знает, но мне он рассказал. У него погиб ребенок. Мальчик. В автомобильной катастрофе. Они собирались провести отпуск на Кавказе. Сам Сильвестров прилетел самолетом, а жена с сыном должны были приехать на машине. Жена очень хорошо умела водить. Но на повороте лопнула шина. А там сразу обрыв и камни. В больнице, когда она пришла в себя, ей долго не хотели говорить про мальчика. Уверяли, что он в соседней палате, что еще есть надежда. На самом деле он погиб сразу. От удара сместились шейные позвонки.

— Остаться жить и чувствовать себя виноватой в смерти собственного ребенка!.. — Тамара Евгеньевна всплеснула руками, будто отгоняла от себя что-то невидимое. — Даже услышать о таком, и то сердце сжимается.

— Сильвестров рассказывал, что с тех пор она изменилась неузнаваемо. То плачет часами по любому поводу. То начинает заговариваться и уверять его, что мальчик до сих пор в больнице, просит позвонить, узнать, когда его выпишут. Потом приходит в себя и вскрикивает, как от удара. Она говорит, что почти физически ощущает в мозгу то место, где засело страшное воспоминание, засело в виде сверлящей болевой точки. Не помогали никакие таблетки, никакие лечения. У него не было сил смотреть, как мучается любимый человек. Он чувствовал, что должен что-то предпринять.

— И придумал «Мнемозину»?

— Да. Сама идея появлялась у него и раньше, но среди многих других. Это не человек, а настоящая фабрика по производству идей. Тогда же, пять лет назад, он решил забросить все остальные проекты и заниматься одной «Мнемозиной». На новом месте работы, в академии, он никому не рассказывал о своей горе. Боялся, что его сочтут эгоистом, хлопотущим только о том, чтобы обеспечить покой в своей семье. Как будто мало на свете других людей, мечтающих освободиться от тяжелых воспоминаний.

— Но неужели время не вылечило ее? Ведь пять лет.

— Судя по тому, с каким лицом Сильвестров вернулся в последний раз из поездки к жене, — нет. Да он и сам стал ужасно нервным, взвинченным. Делался похож на себя лишь тогда, когда работа подвигалась вперед. Но стоило ей застопориться, и он снова впадал в какую-то мрачную ожесточенность. Помните доклад, который он делал весной? Так вот: с тех пор мы не продвинулись вперед ни на шаг.

— Но вы же работали с утра до ночи.

— Все впустую. Мы получали широкую ленту с полной записью памяти животного, но прочесть-то ее мы не могли. И если мы стирали наугад какой-нибудь кусочек, а потом возвращали память обратно в мозг — пусть даже самой смысленной обезьянке, — она не могла объяснить нам, что она забыла.

— И тогда он решил?..

— Да. Попробовать на себе. Это был какой-то кошмар. Последние два месяца он являлся в лабораторию только для одного: уговаривать меня принять участие в опыте. Помочь ему. Он говорил, что все равно другого пути нет. Что без опыта на человеке нам не обойтись. Что пробы будут самые короткие — полминуты, минута.

— Да кто бы ему позволил?! — воскликнул Андрей Львович. — Даже пять секунд.

— Он знал, что ему не дадут разрешения. Поэтому и упрашивал меня помочь. Говорил, что иначе воспоминания о сыне и его сведут с ума. Плакал... Грозился, если я не соглашусь, начать опыт в одиночку. Без ассистента.

— Но как же вы могли молчать? Нужно было приехать сюда, рассказать нам о его намерениях.

— Я думала, мне удастся образумить его. Уговорить... Но в конце концов не выдержала. Просто сбежала. Хотела сразу ехать в Москву, просить о переводе в другое место. Даже билет вчера взяла в аэропорту. А потом сдала обратно... На минуту заколебалась — и снова застряла на полдороге.

— Да как можно колебаться и раздумывать в подобных ситуациях? — воскликнула Тамара Евгеньевна.

Этери посмотрела на нее, и взгляд ее из растерянного вдруг сделался ожесточенным и злым.

— А что бы вы хотели? Ведь он доверился мне, понимаете? А я? Должна была его предать? Рассказать, добиться прекращения работы? Лишить его последней надежды? Вы можете оценить меру его страданий? Страданий его жены? Нет. И никто не может. В конце концов, он вправе распоряжаться самим собой. Может, я еще всю жизнь буду жалеть, что отказалась ему помочь.

— Самим собой — это бы еще ничего, — задумчиво сказал капитан, проглядывая записи в своем блокноте.

— Что вы имеете в виду?

— Скажите, как близко должно было находиться подопытное животное во время сеанса?

— Метр — не больше. Мы посылали довольно слабый сигнал, чтобы излучение не достигло лаборатории биоконтроля.

— А сами при этом находились?

— Рядом.

— И ничего?

— Конечно, ничего. Биочастоты человеческого мозга лежат совсем в другом диапазоне.

— Но если, скажем, включить этот человеческий диапазон, а сигнал дать на полную мощность, какая получится дальность действия? То есть на каком расстоянии от «Мнемозины» должен находиться человек, чтобы забыть папу, маму и все на свете?

— Точно не могу сказать... Ведь таких экспериментов еще никто не проводил. Но почему вы спрашиваете? Постойте, уж не думаете ли вы...

Этери на секунду даже онемела от гнева, но капитан упорно кивнул головой:

— Да, думаю.

— Что такой человек, как Сильвестров, мог решиться на опасный опыт, не приняв всех мер предосторожности? Что где-то за стеной ни о чем не подозревающие люди могли попасть в зону облучения?

— Что в этом невозможного?

— Да поймите же: если бы я согласилась ему ассистировать, я бы находилась в той же комнате. Рядом, понимаете? И все было бы устроено так, чтобы я не подвергалась ни малейшей опасности.

— Этери, вы единственный специалист среди нас. Мы обязаны вам верить. Каждому вашему слову. Но я прошу вас, продумайте сами эту версию до конца. Эту невероятную, невозможную ситуацию: «Мнемозина» включена в диапазоне частот человеческого мозга. Что должно случиться, чтобы мощность тормозящего сигнала внезапно возросла? А вместе с ней — и радиус опасной зоны. Если какой-то злоумышленник, знающий аппарат, решился бы на подобное преступление, что он должен был бы сделать?

— Какой еще злоумышленник? У нас, в «Карточном домике»? Это же чистая утопия.

— Вообразите!

Голос капитана прозвучал так настойчиво, что было не понять, просьба это или уже приказ.

— Ну, хорошо. — Этери выпустила наконец воротник шубки и загнула один палец на руке. — Во-первых, он мог бы попытаться резко увеличить напряжение в электросети. Это, конечно, в том случае, если бы не знал, что у нас есть релейная защита против такого скачка. Во-вторых, усилители третьего блока... Нет, отпадает. Здесь у нас тоже система предохранителей. В-третьих... Но я надеюсь, воображаемый злоумышленник не всесилен и не может распоряжаться атмосферным давлением?

— А при чем здесь атмосферное давление? — вскинулся директор.

— Нет, это я к слову. Просто мы месяц назад получили письмо от своих коллег из Вильнюса. Они обнаружили стран-

ный феномен: в отличие от обычной радиоаппаратуры, биологическое радио очень чувствительно к колебаниям атмосферного давления. Сильное увеличение давления может вообще практически свести силу сигнала до нуля.

— А падение давления?

— Наоборот, усилить сигнал. Точных цифр у них еще не было, но приблизительные данные первых опытов невероятны: удвоение на каждые пять миллиметров ртутного столба. Они сами были так поражены, что решили заново проверить правильность своей методики. спрашивают, не сталкивались ли мы с чем-нибудь подобным.

— А вы?

— Мы написали, что не сталкивались. Сила сигнала сама собой ни разу не менялась. Правда, «Карточный домик» стоит в таком месте, где давление очень стабильно, резких изменений почти не бывает.

Директор вдруг вскочил с места и отбежал к своему письменному столу.

— Не бывает... Да-да, обычно не бывает, — бормотал он, роаясь в папке с бумагами. От волнения он выронил нужный листок, но тут же поймал его на лету и поднял к глазам. — Вот. Сводка погоды, я запрашивал ее сегодня утром. Давление накануне пурги упало на двадцать восемь миллиметров.

Можно было подумать, что цифра, названная им, каким-то образом сообщила окружающему воздуху, — такая душная, гнетущая тишина воцарилась в кабинете.

— Пятикратное удвоение, — прошептала Тамара Евгеньевна. — Вместо одного метра — минимум тридцать.

— Может покрыть «Карточный домик» целиком.

— Но время?! — Капитан всем телом подался вперед.

— Что — «время»? — растерянно спросила Этери.

— Какая длина у магнитофонной ленты «Мнемозины»?

— Бобина с широкой лентой рассчитана на двенадцать часов работы. Когда она кончается, «Мнемозина» автоматически перестает посылать тормозящий сигнал.

— Черт с ней — с широкой! Я спрашиваю про тонкую, про этот ваш ДЫЖ... ЦЫЖ — как его?

— ДЖЦ — дублер жизненных центров. Вы хотите знать...

— Да! Да! Я хочу знать, сколько времени будет жить оглушенный, потерявший память человек?

— Тонкая лента, конечно, длиннее... Примерно в два раза. Но почему вы спрашиваете?

Никто ей не ответил.

Капитан молча переглянулся с директором. Тамара Евгеньевна вдруг замотала головой и прикрыла глаза ладонью.

— Почему вы спрашиваете? — повторила Этери, в тревоге приподнимаясь со стула. — Там что-нибудь случилось, да, Андрей Львович, скажите правду. Что-нибудь с Сильвестром? Неужели он решился?..

— Не только с ним. — Директор тяжело поднялся из-за стола. — Мы ничего еще толком не знаем, Этери. Но то, что вы рассказали... Если он действительно, забыв дисциплину, долг ученого, решился начать в одиночку этот опыт над самим собой... Чему я просто не хочу верить! Но если это так... И если во время опыта по роковому стечению обстоятельств надвигающаяся пурга сыграла роль злоумышления... Я знаю ваших коллег из Вильнюса. Вы помните, чтоб они хоть раз ошиблись в таких важных выводах?

— Нет.

— А коли они правы, резкое падение давления могло так усилить сигнал, что Сильвестров оказался оглушенным, утратившим контроль над собой, над течением опыта. И не только он. Все люди, спящие в здании «Карточного домика», должны были попасть в расширившуюся сферу действия «Мнемозины». Если все это так, тогда картина того, что там произошло...

Он не успел закончить свою мысль.

За дверью застучали чьи-то шаги, быстро, еще быстрее, почти бегом, и влетевший в комнату человек — волосы всклокочены, в руке зажата пара наушников — закричал прямо с порога:

— Андрей Львович! «Карточный домик» ответил!

8

Оставшись одни, Стеша и Киля немного потоптались у запертой двери, потом, стараясь ступать на цыпочки, отошли обратно к тому же столику. В большой полутемной зале кафе невозможно было избавиться от ощущения, что на тебя кто-то смотрит.

— Спрятаться надо, — тихо сказал Киля.

— Куда?

— А вот. — Он взял столик за край и осторожно опро-

кинул его набок. Затем рядом положил еще один — получил-ся шалаш не шалаш, а что-то вроде низенькой ширмы. — Полежай сюда.

— Не хочу, — сказала Стеша. — Чего это я буду прятаться? Стыдно.

— Вот еще — стыдно. Я, например, дома часто прячусь. То на сеновал залезешь, то в погреб, то под кровать. Не от кого-нибудь, а просто так. Для интереса — найдут или нет. Только никто не ищет.

Стеша сидела выпрямившись, задумчиво глядела перед собой.

— Знаешь, у меня сейчас такое чувство, будто все это с нами уже было. Будто мы так же сидели в большом опустевшем здании, и елка поблескивала в темном углу, и на улице ветер, а мы чего-то ждем. И страшно. Может, я сон такой видела? Или в книге прочла про похожее, но не помню в какой. С тобой так бывает?

— А дальше чего было в твоём сне? Не доглядела?

— Кажется, кто-то вошел. Нет, не помню. Ты мертвых боишься?

— Да они не мертвые совсем.

— Откуда ты знаешь?

— Видать. Лежат все как-то удобно. А хоть бы и мертвые — мне теперь все равно.

— Почему?

— Потому что... — Килиа вздохнул и медленно начал опускаться в свое укрытие.

— Давай-давай, договаривай. Не темни.

— Потому что вы теперь меня никуда с собой не возьмете, — глухо донеслось из-за столиков. — Даже если мы отсюда спасемся и все кончится хорошо...

— Не болтай ерунды, — сказала Стеша. — Подвернуть ногу — это с каждым может случиться.

— С каждым не с каждым, а случилось-то со мной. Димон не простит.

— А когда летом работали на стройке и его обожгло паяльной лампой, кто бегал к фельдшеру за мазью?

— Ну, мы.

— Никакие не мы, а ты. Когда ты наконец отвыкнешь от множественного числа?

— Все, последний раз. Вырвалось само.

— А кто его потом домой на подводе отвез?

— Так то домой. А он меня во-о-он сколько тащил. И не на подводе, а на себе. Такое разве можно простить?

Килиа выставил уже два глаза и нос, но Стеша вдруг перестала его утешать и снова впала в задумчивость.

— Значит, ты полагаешь, что Димон способен... Ты думаешь, он злопамятный, да? Жестокий? Так многие считают... Алексей Федотыч у нас всегда на истории примеры приводит. «Представьте себе, — говорит, — что какой-нибудь греческий тиран пошел войной на соседний город и завоевал его. Что он сделает первым делом? Вот ты, Дима, с чего бы ты начал?» Тут я, конечно, не стерпела и вылезла: «Почему обязательно если тиран, так сразу — Дима?» А он говорит: «Нет, это я случайно — к примеру. Да и тираны в Древней Греции бывали совсем неплохие, так что ничего обидного...» Но я-то знаю, что не случайно он его выбрал. А почему?

— Потому что он главный.

— Кто?

— Димон. Он по натуре главный — всякому видать.

— Глупости. Разве это можно по натуре. Главным назначают или выбирают.

— Ну да. Меня сколько ни назначай, ни выбирай, я все равно не буду. Натура не та.

— Нет, ты не понимаешь. Вы еще историю не проходите, а там есть масса примеров, когда главными делались, ну, кто угодно, это зависит от разных причин, поэтому...

Они постепенно увлеклись разговором и даже на время как будто позабыли все, что с ними случилось. Но, видимо, какой-то сторож внутри них продолжал напряженно вслушиваться в окружающее. Потому что, когда сверху донесся резкий звук выстрела, Стеша одним прыжком перелетела, перенеслась к Килие за его баррикаду.

Оба замерли там, пригнувшись.

Тьма за окнами окрасилась в красный цвет.

Потом грохнуло еще раз, и топот бегущих ног прокатился у них над головами. Краснота с шипением разгорелась еще ярче и пропала.

Неясный шум шел теперь со стороны вестибюля.

Окрик, звон металла, упавшего на бетон. Возгласы: «Стой! Отдай! Брось пистолет!»

Шум борьбы.

Быстрые шаги нескольких человек — ближе, ближе. Наконец сильный стук в дверь.

Киля выскочил из укрытия и, став перед Стешей, поднял стул, грозно ошестинившись четырьмя его ножками.

Но в этот момент из-за дверей донесся напряженный голос Димона:

— Ребята, это мы. Скорей откройте.

Подбежать к дверям, отмотать проволоку — на это у Стеши ушло несколько секунд.

Широкий сноп света упал из вестибюля в полутемное кафе, и вошли (Стеша с Килей невольно отшатнулись) Димон с двустолковой в руках, за ним Лавруша с большим черным пистолетом, и последним — высокий человек в комбинезоне и унтах.

Обеими руками высокий размазывал по лицу слезы и ныл, всхлипывая, просил:

— Отдай, слышишь?.. Отдай ракетницу... Не тебе дали, так нечего цапать... Все сказано будет про вас, про хулиганов... Обрадовались, да? Двое на одного — да? Меня ведь послали, не вас... Отдавай, не то хуже будет... Думаешь, отцу нажалуюсь? Не отцу, а самому Саламандре... Саламандра за меня тебе голову оторвет и в карман положит... Понял? Похорошему отдавай... Ну, а хоть когда поиграешь-то — отдашь? Ох, появишься ты только на нашей улице, будет тебе гроб с музыкой... Слышь, ты... Отдавай, а не то...

— Не ной! — прикрикнул на него Димон. — Сядь там у стены и помолчи. Будешь говорить, когда спросят.

— Дима, нельзя! — зашептала Стеша, хватая его за рукав. — Как ты можешь так разговаривать со старшими.

— А-а, — отмахнулся Димон, — оставь. Какой он «старший». Ты погляди на него.

Заплаканный верзила уселся тем временем у стены. Димон подвинул стул, сел напротив и строгим учительским голосом сказал:

— Итак, откуда вы взялись? Почему бродили по дому один? Зачем открывали окно и пускали в пургу сигнальные ракеты? Чего испугались, увидев нас на лестнице? Но только не врать.

— А чего пристали? — завопил высокий, ударяя себя в грудь. — А что я сделал? Мало ли что испугался! Вас двое, а я один. И не виноват я, зуб даю — не виноват! Не докажешь!

— Не кричи. И не маши руками. Давай-ка по порядку. Как тебя зовут?

— Ну, Юрка я. Сазонов.

— Так. Хоть имя свое помнит. А живешь ты где, Юрка? Здесь? Или в городе? А может, в Ночлегове?

— Чего я здесь не видел. В городе живу. С мамкой и сестрой, понял?

— Работает? Учишься?

— Але, кончай на психику давить. Меня на понт не возмешь.

— Чего?

— Один такой, как ты, тоже мне на психику давил. Знаешь, что ему Саламандра сделал? Руки-ноги связал, а голову в водосточную трубу засунул. Не веришь?

— Верю, верю. Только никто на тебя не давит. И пугать тебя мы не собирались.

— Не собирались? Что ж ты тогда в ружье свое вцепился и до сих пор не отпускаешь? А если оно стрельнет вдруг? Думаешь, не страшно?

— Ладно. Лавруша, поддержи. Ну вот, я уже без ружья. Так где же ты работаешь?

Но Сазонов вдруг нахально ухмыльнулся, развалился на стуле и протянул:

— А не твое. Щенячье. Дело.

Киля от возмущения зашипел, Лавруша охнул, Стеша прошептала: «Какая наглость». Один Димон остался невозмутимым.

— Послушай, Юра, — начал он, не повышая голоса. — Юра Сазонов. Тут стряслось что-то очень плохое. Беда стряслась, понимаешь? В том числе и с тобой. И мы хотим понять. Понять и помочь. Поэтому постарайся вспомнить, что с тобой произошло сегодня. Где ты был утром? Днем? Кого видел? Там в лесу стоит вездеход — это не твой? Ты не на вездеходе приехал? Откуда у тебя пистолет-ракетница? Ну, говори. Расскажи хоть что-нибудь.

Сазонов наморщил лоб, поднял глаза к потолку. Но вдруг лицо его снова перекосила плаксивая гримаса, и слова полились сплошным потоком, так что половины было не разобрать из-за всхлипований:

— Пристали к человеку... Чего пристали-то?.. Где, да что, да когда. Ну, не помню я ничего... Сказано вам — не помню!.. Бродишь тут, бродишь целый день... Никого нет... Одни валяются на полу, не отвечают, другие выскакивают с ружьями... Думаешь, не страшно? И ужинать не дают... Как будто

я виноват... Что ж с того, что я стрелял? Я вверх стрелял, не в людей. И не в зверей... А если в кошку из рогатки, так это когда было... И не попал я. Это Саламандра мне рогатку дал, у него их полно... А сестра ее в печку кинула... Я с тех пор и в руки не брал. А то, что в машину залез, так мне сам Петрович разрешает... Учи, говорит, главное, арифметику, и все тогда, тогда станешь шофером. Я и учу... В прошлой-то четверти у меня по арифметике две четверки было, с четверками в шоферы берут, это точно... А ты пристал, заладил одно и то же: вспомните, вспомните. Бубнишь и бубнишь. Точь-в-точь, как тот псих наверху.

— Какой псих? — опешил Димон. — Где?

— А на втором этаже. Тоже вроде тебя. — Он состроил гримасу и монотонным голосом начал передразнивать кого-то: — «Карточный домик», «Карточный домик», ответьте научному городку, «Карточный домик», почему молчите? Перехожу на прием, «Карточный домик», отвечайте, вас не слышу, вас не слышу, что у вас случилось, отвечайте, «Карточный домик», перехожу на прием...»

— Это радио! — воскликнул Лавруша. — Он передразнивает радио.

Димон вскочил со стула и кинулся к Сазонову.

— Где?! Где ты слышал этого психа?

Сазонов отшатнулся и немедленно перешел опять на слезный тон обиженного пацана:

— Да сказал же я вам... Сразу и сказал — на втором этаже. Там комната в конце коридора направо... Он бубнит из репродуктора — ответьте, ответьте. Я отвечаю, а он опять свое — ответьте да ответьте. Не слышит, что ли, глухая тетка? Орешь ему, орешь...

Димон с Лаврушой, не дослушав его причитаний, выскочили из кафе в вестибюль и, перепрыгивая через ступеньки, понеслись вверх по лестнице.

9 — «Карточный домик»? Ну, наконец-то! А мы уж тут места себе не находим от беспокойства. Чуть ли не танковую колонну хотели посылать на помощь. Что у вас там произошло? Докладывайте.

Голос звучал из репродуктора негромко, хотя было понятно, что человек там почти кричит от радости. Димон оглянул-

ся на Лаврушу, тот протянул руку и переключил на передатчик нужный тумблер.

— Видите ли... — начал Димон. — Мы сами не можем понять, что тут произошло. Вроде бы праздновали Новый год, все было нормально, а потом что-то случилось.

— Перехожу на прием, — подсказал Лавруша.

— Перехожу на прием, — повторил Димон и теперь уже сам щелкнул тумблером.

— С кем я говорю? — Тон голоса в репродукторе заметно изменился — вместо радостных в нем зазвучали тревожные ноты. — Это Сева?

— Нет. Это Дима.

— Какой Дима? Фамилия?

— Дима Снегирев.

Там некоторое время молчали. Было слышно, как человек спросил кого-то: «Снегирев? Кто это?» — и женский голос ответил: «Ну, не могу же я всех помнить. Может, кто-нибудь из механиков?»

На пылочках вошли Стеша и Киля, стали по обе стороны от двери.

— Скажите, Дима Снегирев, а что у вас с голосом?

— Не понимаю.

— По голосу можно подумать, что вам лет тринадцать — четырнадцать.

— Не, тринадцати еще нет. Летом будет. Но это неважно. Вы подождите, не отключайтесь. Я вам сейчас все объясню. Мы на лыжах сюда пришли, понимаете? У нас каникулы, и Алексей Федотыч разрешил нам автобуса не ждать, а напрямки на лыжах; и мы с утра как вышли, так ветра еще совсем не было, мы бы запросто успели, напрямки до Зипунов наших километров восемнадцать...

— Дима, не волнуйся так, — попросила Стеша, подходя сзади и кладя ему руку на плечо.

— Ничего я не волнуюсь. Но надо же людям объяснить, как мы сюда забрели, а то они еще подумают, что это мы все тут натворили. А мы просто заблудились — понимаете? — когда пурга началась, и случайно в этот дом попали. Мы и не слышали раньше про него, и ничего тут не делали, никаких кнопок не трогали, только поели на кухне. Если кто чего тут натворил, так это Сазонов. Из ракетницы точно он стрелял. Может, он до этого еще чего-нибудь выкинул — как вы считаете? Перехожу на прием.

— Сазонов? Что с Сазоновым? Он там, с вами? Позовите его к аппарату.

— Я могу позвать, но нет смысла. Он прямо как пятилетний. То плачет, то грозит, то бормочет не поймешь что. Мы у него еле ракетницу отобрали. Так позвать?

Там снова повисло тягостное молчание. Потом несколько голосов заговорили быстро между собой. Можно было разобрать только: «Сущая бессмыслица... какие там лыжи? Впали в детство... бред». А женщина несколько раз произнесла: «Вот она, ваша «Мнемозина» — и кто-то ей ответил: «Да, несомненно, утрата памяти налицо». Наконец голос снова прозвучал явственно из репродуктора, но не тот раскатистый, что раньше, — другой. Посуше и подтверже:

— Дима Снегирев. Слушайте меня внимательно и отвечайте быстро и кратко. В каком состоянии здание? Разбитых окон, поломанных дверей нет? Электричество горит, тепло?

— Да, все нормально. Даже подвесная дорога работает.

— Никаким газом не пахнет, следов огня не заметно?

— Нет.

— Что с людьми? Говорите только про тех, кого видели своими глазами.

— Трое лежат в вестибюле. Похоже, что без сознания. Да нас четверо. Еще Сазонов, но он совсем как малый ребенок.

— А вы сами — как большой, что ли?

— Если вы считаете, что двенадцать лет...

— Не будем отвлекаться. Дима, поймите хорошенько: то, что я сейчас скажу, — приказ. Приказ научного городка и милиции. Возьмите карандаш и записывайте.

— Я запомню.

— Нет, запишите. И не выпускайте записанного из рук. На память вашу надежды сейчас почти никакой. Первое: собрать всех, кто может ходить, и немедленно покинуть здание.

— А куда же мы денемся? В лес, что ли?

— Нет. Выйдете из главных дверей и свернете налево. Метров через сто будет дом лесника. Записали? Там переждете до утра. Утром прибудет спасательный отряд. Помощь. Если в доме холодно, затопите печь. Сумеете? Кажется, там есть собака — не пугайтесь. Вы все поняли? Повторите.

— Собрать всех... Покинуть здание... Ждать в доме лесника... Но скажите хоть, в чем опасность?

— В здании установлен аппарат, испускающий сильное радиоизлучение. Подавляющее память. Боюсь, что и ваша па-

мять уже сильно пострадала. Вы забыли многое и каждую секунду продолжаете забывать.

— Так, может, выключить его?.. Или расколотить?

— Ни в коем случае. Он должен поддерживать жизнь тех, кто уже уснул. Пока вас тоже не свалил сон — торопитесь. Выполняйте приказ.

— Есть.

— Как можно быстрее. Бегом. Все — прочь из здания! Репродуктор умолк.

Ребята в растерянности смотрели на Димона. Но тот сидел не двигаясь, уставясь в исписанную бумажку.

— Дима, — позвала Стеша. — Ведь сказали — бегом.

Димон потер лоб, прикрыл глаза.

— Да, да. Только, по правде говоря...

— Они решили, что мы такие же чокнутые, — сказал Лавруша, — как Сазонов.

— А может, они правы? Может, мы тоже забыли? И это нам только кажется, что сегодня утром мы вышли из интерната, что Киля подвернул ногу, что сидели в вездеходе. Может, на самом деле это было давным-давно, много лет назад. Но все, что в промежутке, мы забыли.

— Да ведь бегом же, — повторила Стеша. — Сказано — ни минуты не медля. Потом будем рассуждать.

Димон посмотрел на нее, потом на записку с приказом и, стряхнув наконец странное оцепенение, напавшее на него, вскочил на ноги.

— Приказано бегом, но приказано еще и всех. Всех, кто может ходить.

— Если Сазонов заупрямится, нам его не вытащить.

— Киля, Лавруша, быстро на третий этаж. Проверьте, нет ли кого-нибудь ходячего. И если попадется теплая одежда, тащите вниз. Встретимся внизу у главных дверей.

Сазонова все же пришлось оставить в здании. Он не заупрямился, он просто спал. Спал не так, как те в вестибюле, а по-настоящему: подстелив себе на полу у плиты Стешин полушубок, подложив под голову Лаврушин рюкзак и посапывая вымазанными кремом губами. Растолкать его так и не удалось.

— Ну, что там? — крикнул Димон, увидев спускавшихся сверху ребят.

— Никого. То есть спят все. И в запертые двери стучали — не откликаются.

Одевались быстро и молча.

— Готовы? — спросил Димон, в последний раз пробежав бумажку с приказом: налево, сто метров, дом лесника. — Тогда пошли.

Дверь поддавалась только после того, как на нее навалились втроем, — столько снега намело снаружи. Ветер сразу по-разбойничьи выскочил из ночной черноты, ворвался в вестибюль, полоснул холодом по лицам.

Зато около домика лесника, укрытого в ельнике, было затишье.

Они набились в тесные сени, топали, стряхивали друг с друга снег. Радостный собачий лай раздался за дверью, и стояло Димону откинуть наружную щеколду, как пушистая черно-белая лайка вылетела из горницы, не задумываясь кинулась к Лавруше лапами на плечо и несколько раз лизнула в лицо.

— Ребята, — сказал Лавруша, — там в сенях поленница. А мне пса не выпустить. Ну, куда? Куда ты тянешь? Чего скулишь? Что с хозяином твоим беда? Знаем, знаем, что беда. Потерпи. До утра придется тебе потерпеть, утром помощь придет. Понял? Усек?

Димон набрал уже полную охапку дров, когда в полутьме сеней до него донесся Стешин голос:

— Дима?

— Да.

— Ты помнишь, я летом уезжала на неделю?

— Помню. Вы с концертами по деревням ездили.

— Да. А когда возвращались, ты на дороге сидел. С корзиной.

— Ну, сидел.

— И я застучала в кабину, чтобы остановили, и спрыгнула, и ты сказал, что за грибами ходил.

— Я помню.

— Только в корзинке у тебя пусто было. И грибов в июле у нас не бывает никогда.

— Чего ты вдруг вспомнила?

— Так...

— Нет, скажи.

— Я подумала тогда... Подумала, что ты меня ждал. Это правда?

— Угу.

— Знаешь, когда тот в репродукторе сказал, что мы мно-

гое забыли и продолжаем забывать, я больше всего за это испугалась. Что забуду когда-нибудь, как ты сидел там на дороге. И как смотрел на меня. И как мы шли потом пешком до деревни.

— Я не забыл. Я даже помню, в каком платке ты была. В зелененьком.

— А у тебя на рубашке значок был. Города Суздаль. Я еще подумала: неужели он за это время в Суздаль съездил?

— Да нет. Я так надел. Пофорсить.

— А помнишь, мы уже почти дошли до деревни, и ты хотел меня за руку взять.

— А ты не дала. Почему?

— Маленькая еще была. Глупая. А ты...

— Скоро вы там? — донеслось из-за дверей. — Замерзаем.

Они замолчали и вошли в комнату, пряча покрасневшие лица за охапками дров.

— А Киля где? — спросил Лавруша.

— Киля?.. Мы думали, он здесь в комнате.

— А я думал — он там, с вами.

Они оглядели бревенчатые стены, медвежью шкуру на полу, телевизор, заглянули под занавески.

— Нет, он нас решил доконать сегодня! — Димон с грохотом швырнул дрова к печке и выбежал на крыльцо.

— Киля! Киля! Бандит бессовестный! Где ты? Иди сюда, на голос. Эгей!

Никто не откликнулся.

Ветер все так же выл и нес над крышей бесконечный снежный поток. Когда охрипший и продрогший Димон вернулся в дом, он увидел сначала изумленные глаза Стеши, потом Лаврушу, застывшего посреди комнаты, и наконец в углу — виляющий собачий хвост и оскаленную пасть с зажатой в зубах телефонной трубкой.

10

Свободной рукой капитан удерживал телефон так цепко, словно это был живой собеседник, способный убежать, не дослушав самого главного.

— Всех! — кричал он в трубку. — Вы поняли меня? Всю ночную смену водителей! Разбейте их на два отряда. В первом — два бульдозера, две снегоочистил-

ки и обязательно один тягач. Пусть выезжают немедленно. Курс — деревня Ночлегово. Не теряйте времени на заправку, горючее доставим уже в пути. Главное для них — расчистить первый этап дороги. Со вторым отрядом поеду я сам и ученые из научного городка. Нам понадобится еще десять водителей — это как минимум. И конечно, транспорт. Еще две снегоочистилки. Заправщик с горючим. Санитарные машины. Причем с персоналом. И не только дежурных врачей. Пусть вызывают специалистов-невропатологов. Вы записываете? Свяжитесь еще с летчиками. У них есть мощный прожектор на самоходном шасси. Объясните им ситуацию, они поймут. Без такого прожектора по целине нам не пробиться. Кроме того...

На другом конце провода что-то сказали — капитан нахмурился и возмущенно взмахнул рукой, не выпустив из нее телефонного аппарата.

— Жители тоже поймут, уверяю вас! Если вы подготовите сообщение и утром объявите по радио, что случилось, куда была послана снегоуборочная техника, — у вас не будет ни одной жалобы. Да-да — от мала до велика выйдут с лопатами на улицу разгребать снег вручную... Вот увидите. А не надо так бояться сообщать людям о несчастьях. Если объяснить им прямо и честно — они поймут. Плохо же вы их знаете...

Там, видимо, сказали что-то примирительное. Капитан успокоился и поставил аппарат на стол.

— Вот это другое дело. Значит, все ясно? Первый отряд — немедленно, второй — не позже чем через час. Мы прибудем к вам даже раньше. Готовить лопаты и сообщение для радио начнете после нашего отъезда.

Он бросил трубку на рычаг и обернулся к директору.

— Я ничего не упустил?

— Похоже, что нет. Теперь весь вопрос в том, за сколько часов мы сможем пробиться к «Карточному домику».

— Точно не скажешь. Снежные заносы — штука коварная. Вездеход на полной скорости доходит за три часа. Значит, нам с разгребанием снега, ночью... В лучшем случае — за шесть часов. Пять — это рекордно.

— А сколько у нас в запасе?

— Сейчас двенадцать ночи. Без пяти минут. Если Сильвестров тоже начал опыт под утро... Надо узнать длину тонкой магнитофонной ленты.

— Боюсь, мы это сейчас узнаем, — сказала Тамара Евгеньевна, кивнув на дверь радиорубки.

Вошел запыхавшийся радист. Наушники свободно болтались у него на шее, а в руках были зажаты две бобины с магнитофонной лентой — одна побольше, другая поменьше.

— Вот. На складе только такие. Не знаю, какие они брали для своей «Мнемозины».

Все молча уставились на Этери.

Она виновато потупилась и ткнула пальцем в меньшую.

Казалось, от тягостной тишины в радиорубке стало еще теснее.

— Эх, девушка! — не выдержал радист. — Не знаете, что ли, как шьют на подрастающих? С запасом, с припуском. А ваша-то «Мнемозина» самая подрастающая и есть.

— Подрастающая кобра, — пробурчала Тамара Евгеньевна.

Капитан повернул бобину в руках и поднял глаза на радиста.

— На сколько она?

— А скорость у них какая в «Мнемозине»?

— Маленькая, совсем маленькая. — В голосе Этери мелькнула надежда. — Пять метров в час.

— Значит, двадцать часов будет вертеться. От щелчка до щелчка.

Все головы повернулись к настенным часам.

Большая стрелка переползла уже цифру «12» и равнодушно продолжала отсчитывать секунды следующего дня — второго дня нового года.

— Не успеть.

Директор замотал головой и, запустив обе ладони под ворот свитера, оттянул его так широко, словно хотел захватить весь воздух в маленькой комнатке.

— Если он начал вчера в пять, — сказала Тамара Евгеньевна, — тонкая лента будет поддерживать жизнь спящих до часу ночи. Это все, что есть в нашем распоряжении: час, не больше. Но если...

— Больше никаких «если». — Капитан оттолкнул стул и поднялся. — Мы сделаем все возможное, чтобы успеть. Все равно других путей нет. Остается только надеяться, что он начал позже, где-нибудь на рассвете.

— Нет! Так нельзя! — Этери тоже вскочила на ноги и, схватив телефонный аппарат, протянула его капитану. —

Позвоните на аэродром. Нужно найти летчика-добровольца. Хоть одного! Чтобы доставили меня туда... Я бы подклеила ленту... Ведь это все из-за меня случилось. Если б я не удрала. Пусть сбросят с парашютом! Правда, я никогда не прыгала, но вдруг получится...

— Успокойтесь, Этери. Добровольцы, конечно, найдутся. Но техника не всесильна. Нет еще таких летательных аппаратов, которые могли бы подняться в воздух при десятибалльном ветре. Придется ползти по земле. Андрей Львович, вы с нами?

— Разумеется. Тамара Евгеньевна, оставайтесь в радиорубке. Я буду вызывать вас каждые пятнадцать минут.

— Хорошо. Счастливо вам. И не надо отчаиваться раньше времени.

Капитан, за ним Этери, последним — директор выбрались из тесной рубки, пошли по коридору.

Они уже начали спускаться по лестнице, когда до них донесся вопль радиста — то ли изумленный, то ли радостный — не понять.

— Эгей! Домик! Домик снова заговорил!

Капитан изогнулся всем корпусом назад, напрягся и вдруг рванул по коридору, как по стометровой дорожке.

Когда Этери и директор добежали до дверей рубки, он уже сидел рядом с радистом, отгеснив назад Тамару Евгеньевну, прижав ухо к репродуктору.

Детский голос, доносившийся оттуда, был не похож на тот, который они слышали раньше.

— Але. Але, вы меня слышите? Говорят из дома с лабораториями. Со второго этажа я с вами говорю. Ответьте, пожалуйста. Перехожу на прием.

Капитан схватил микрофон, переключил тумблер.

— Да, мы вас слышим. Кто говорит? Почему не выполнили приказ, не покинули здание?

— Говорит Коля Ешкилев. Я вам хотел объяснить... Вы думаете, наверно, что мы ребята-старички, а мы обыкновенные ребята. Настоящие. И ничего мы не забыли. Если не верите, позвоните в Большой поселок, школа-интернат номер восемь, спросите директора Алексея Федотыча. Мы утром сегодня еще там были. Вышли на лыжах, потом заблудились и попали сюда.

— Проверить, — негромко сказал капитан. — Быстро.

Радист кивнул и, чтобы не мешать, выбрался с телефо-

ном в коридор. Длинный красный шнур скользнул с полки, лег капитану на плечо — он даже не заметил.

— Коля Ешкилев, во всяком случае, ты забыл самое главное: что старших надо слушаться. Почему ты остался? Где остальные?

— Остальные все ушли. Кроме Сазонова. Сазонов на кухне уснул, а нам его не поднять.

— Уснул? Сазонов?

— Неужели излучение все еще действует? — Директор резко повернулся к Этери. — Вы же говорили: широкая лента — двенадцать часов. Когда она кончается, тормозящий сигнал должен отключиться автоматически.

— При нормальной скорости — да. А вдруг он включил на более медленную? Мы же ничего толком не знаем.

— В конце концов, Сазонов мог и просто уснуть, — сказал капитан, не поворачивая головы. — От усталости.

— Вы когда сказали, что мы все забываем, — снова раздался из репродуктора Килин голос, — они очень перепугались. У них много хорошего в жизни было, они давно дружат, вот и испугались забыть. А у меня хорошего мало — только с лета, когда они меня взяли в свою компанию. Я пробовал вспомнить и вижу: нет, все помню. Как за раками ходили — помню. Как костер меня учили разжигать — тоже. Даже помню, кто сколько штук поймал, — вот! Может, у меня память какая-нибудь бронированная, ее излучение на берет, а? Я и решил вернуться.

— Да зачем?

— Ну эти тут... Валяются без присмотра... Дышат тяжело. Я подумал: проснется кто-нибудь, пить попросит, а никого нет. Можно, я здесь подежурю? А если не верите, что я здоров, хотите, стихи прочитаю? Из нашей компании одна девочка их все время читает, я и запомнил: «Мчатся тучи, выются тучи...»

В это время в дверях появился радист.

— Есть! Точно — они. Вчетвером вышли из интерната, а до дому не дошли. И Ешкилев этот — с нами был.

Капитан испытующе посмотрел на директора, потом на Этери. Та секунду помедлила, потом молча кивнула несколько раз.

— Вы что? — Тамара Евгеньевна испуганно взмахнула рукой, будто защищаясь. — Что вы задумали? Он же ребенок.

— Это наш единственный шанс, — сказал капитан. — Пospеть туда вовремя надежды почти никакой.

— Да не шанс это! А живой ребенок. Немедленно прикажите ему покинуть здание. Вы слышали — Сазонов уже свалился. Излучение действует!

— «Сбились мы, что делать нам? — неслось из репродуктора. — В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам».

— Там сорок человек, — сказал капитан. — И жизнь их на волоске.

— А вы хотите добавить к ним сорок первого? Ему, наверно, одиннадцати нет. Стоит ему приблизиться к этой чертовой «Мнемозине» — она слижет его коротенькую память в несколько секунд.

— Мы не вправе упустить такую возможность.

— Он справится, — воскликнула Этери. — Там не так уж сложно. Я ему буду объяснять каждое движение, каждый шаг, поворот каждой ручки.

— Замолчите! Сразу видно, что своих детей у вас нет. А вы... Вам я вот что скажу. Если вы немедленно не прикажете мальчику бежать в дом лесника... И если случится несчастье — вам не удастся предстать потом героем, который сделал все, что мог, для спасения людей. Нет! Я всем-всем скажу, что сорок человек погибли от несчастного случая, а сорок первого погубили вы — вы! Вас будут судить! Да, судить.

— Тамара Евгеньевна!

Директор вскочил, сделал шаг в ее сторону, потом отступил и стал боком, открывая ей проход к дверям.

— Пожалуйста, покиньте рубку. У вас истерика. Вы мешаете нам работать.

Та посмотрела на него то ли с изумлением, то ли с укоризной: «И вы?» — но сказать уже ничего не могла. Только сжала виски ладонями и быстро вышла.

— «Визгом жалобным и воем надрывая сердце мне!» — прокричал репродуктор. — Ну что? Теперь-то верите, что я не чокнутый, как Сазонов? Почему вы замолчали?

Капитан встал, подвинул освободившийся стул Этери.

Та поспешно уселась на него, повернула к себе микрофон и зачем-то погладила его. Будто успокаивала.

— Да, Коля, мы верим. Память у тебя замечательная. И она в полном порядке. Теперь скажи: ты готов нам помочь?

— А чего делать?

— Я буду тебе говорить. Но ты должен исполнять каждый приказ в точности. Это очень важно, понимаешь? И все время сообщать мне по радио, что ты делаешь и что видишь перед собой.

— Это что же? Передатчик с собой таскать? Мне его не унести.

— Там в коридоре багажный край. Такая скамейка, катящаяся по рельсам, видел?

— Ага.

— Вот тебе первый приказ: взять скамейку, закатить ее в радиокomнату и погрузить на нее передатчик.

Послышались удаляющиеся шаги, немного погодя — постукивание, пыхтение; все напряженно вслушивались и, когда раздалось: «Фу, готово», — с облегчением вздохнули.

— Теперь выкатывай его в коридор и тяни за собой. Если антенна не пройдет в дверях, отогни — она гибкая. А электрический шнур вытягивай, не бойся. Он длинный, на катушке. Ну как? Пошло?

— Ага. Легко катится. Вышел в коридор — куда теперь? Налево, направо?

— Направо. Иди не спеша. Дверь шестая или седьмая, точно не помню. На ней написано: «Лаборатория Сильвестрова, «Мнемозина». Да, и пожалуйста: все время считай вслух.

— Кого считать?

— Никого. Просто числа по порядку: один, два, три, четыре...

— Умница, — шепотом сказал капитан и пожал руку Этери, лежавшую на столе.

— Зачем? — спросил Кия. — Думаете, я считать не умею?

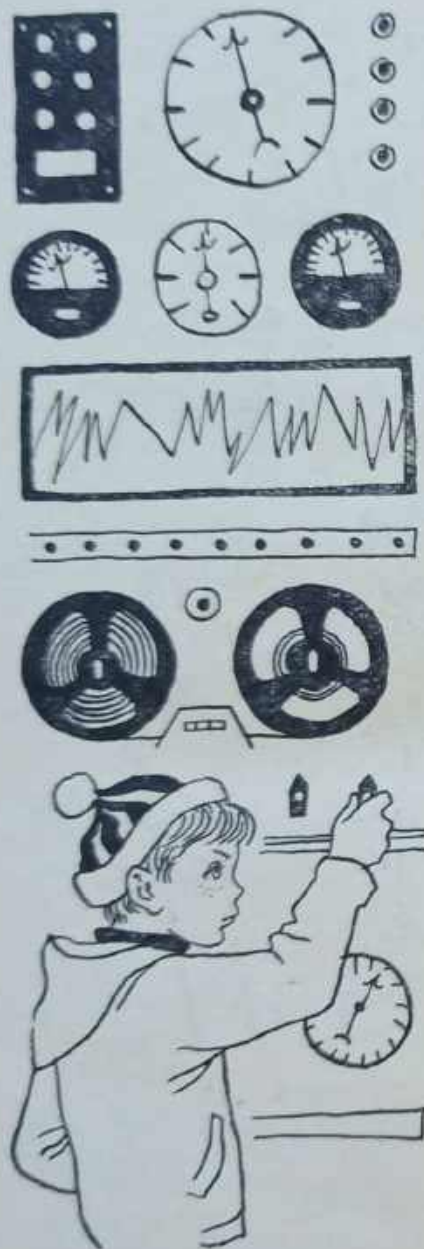
— Так мы сможем следить за твоей памятью. Если начнешь сбиваться, прикажем все бросить и бежать в дом лесника. Ну, давай.

— Один, два, три, четыре...

Кия выговаривал каждую цифру гораздо старательней и торжественней, чем слова стихотворения. На счете «четыре» он вдруг умолк. В радиорубке затанцевало дыхание.

— Что случилось? Почему ты замолчал?

— Пятнадцать, шестнадцать... Дошли мы до той двери. И табличку читали... Семнадцать, восемнадцать...



— Кто это «мы»? Сколько вас там?

— Да один я, один. Никого больше нет. Девятнадцать, двадцать.

— Что на табличке?

— «Мнемозина» какая-то... Двадцать один, двадцать два, двадцать три... И снизу записка: «Идет опыт, прошу не входить». Двадцать четыре, двадцать пять...

Этери беззвучно пошевелила пересохшими губами. Капитан поймал ее взгляд, достал с полки сифон с газированной водой, наполнил стакан. Она благодарно кивнула ему, задышавшись, отпила несколько глотков.

— Коля, теперь начинается самое трудное. Ты войдешь в эту лабораторию...

— А если она заперта? Двадцать шесть, двадцать семь...

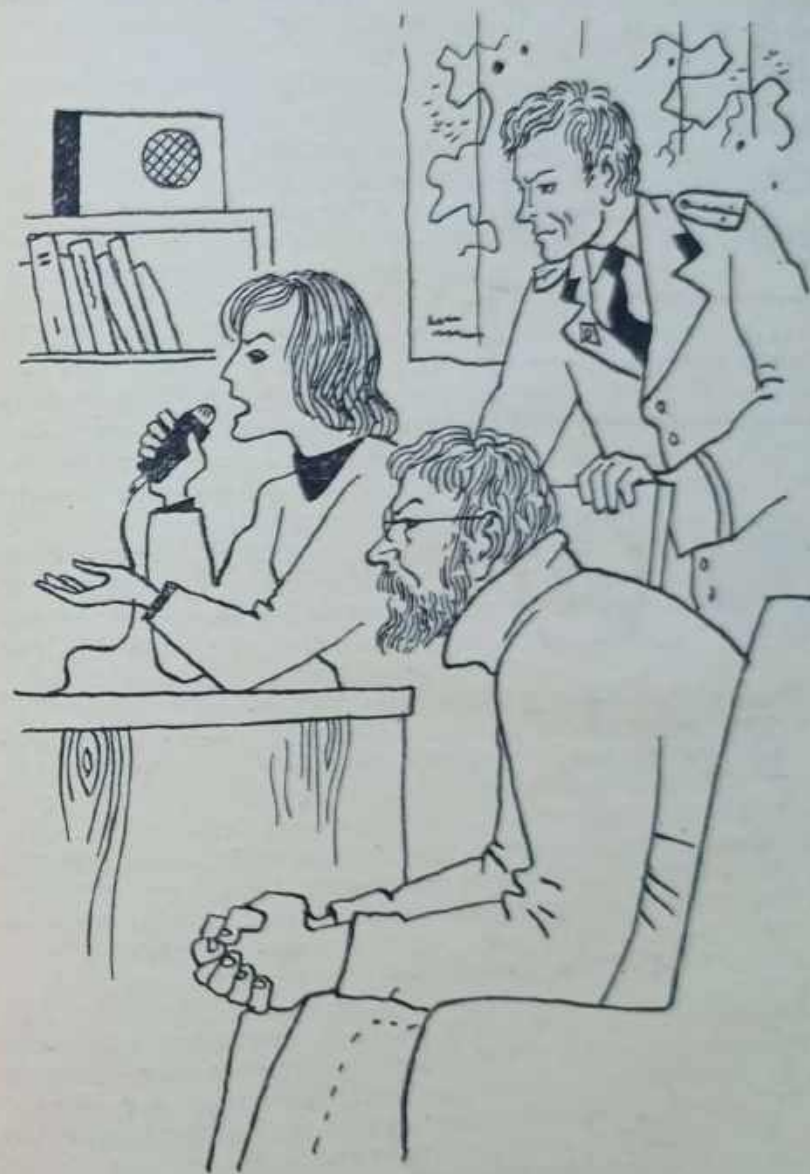
— Я скажу тебе шифр замка. Войдешь в нее — не пугайся. Возможно, на полу будет лежать человек без сознания.

— Какой человек?

— Ничего страшного, обыкновенный. Худой, в белом халате... У него очень высокий лоб. В общем, сам Сильвестров.

— Двадцать восемь, двадцать девять... Нет, высоколбного там нет. Он в вестибюле лежит, на полу... Так лежит, будто хочет гребануть рукой и поплыть.

— Значит, у него хватило



сил выбраться, — сказала Этери, оглянувшись. — Я больше всего боялась, что он свалился рядом с «Мнемозиной». В зоне самого сильного излучения.

— Я войду, а чего делать?

— Прежде всего, продолжай считать. Не делай никаких пауз. И, считая, постепенно иди к окну. Там стоит большой аппарат — лампочки, переключатели, стрелки приборов. Ты что-нибудь смыслишь в радиотехнике?

— В кружке-то я занимался... Тридцать, тридцать один, тридцать два...

— Вот это молодец. Тогда входи. Когда дойдешь до аппарата, скажешь. Входи и считай.

Было слышно, как скрипнула дверь, как Кия ступил с мягкого ковра в коридоре на твердый пол комнаты, как зашуршали ролики подвесной дороги. Этери поднесла руку ко рту и прикусила костяшки пальцев, капитан прибавил звук в репродукторе. Директор и радист, стоя у них за спиной, мучились вынужденным бездельем и непрерывно курили.

— ...Сорок восемь, сорок девять... Дошел до аппарата. Он, похоже, включен. Пятьдесят, пятьдесят один... Лампочки горят, гудит слегка...

— Коля, посередине прямо перед тобой — широкая никелированная пластина. По углам две защелки. Видишь?

— Да.

— Отстегни защелки и открой ее.

— А как она?.. Ага, понял... Сейчас... Во — сама подскочила. Пятьдесят три, пятьдесят четыре...

— Что ты видишь перед собой?

— Вроде магнитофон... Или даже два... Пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь... Один с широкой лентой, другой с тонкой... Пятьдесят восемь, пятьдесят девять... Широкая кончилась вся, катушки остановились.

— А тонкая?

— Еще крутится... Шестьдесят, шестьдесят один... Но тоже совсем мало осталось... Скоро остановится.

В радиорубке произошло движение. Все словно качнулось вперед, но капитан, раскинув руки, удержал: «Не мешайте ей!» Этери напряглась, откинула волосы со лба и вдруг начала говорить быстро и решительно, не обращая ни на кого внимания. Каждая фраза звучала отчетливо, как команда, и тем страннее казались просительные, умоляющие интонации, прорывавшиеся время от времени в ее голосе:

— Все понятно... Считать больше не надо. Коля, тебе опасность не грозит. Но другим!.. Ты можешь спасти их. И должен! Только времени очень мало... Не перебивай. Прежде всего: справа на пульте оранжевый переключатель. И надписи — торможение, растормаживание. На что он включен? Торможение?.. Я так и думала. Поверни его против часовой стрелки до щелчка. Повернул? Широкая лента пошла в обратную сторону?.. Очень хорошо. Теперь самое главное. И самое ответственное. Сосредоточься только на деле, ни на что не отвлекайся. Слева на стене ящик. Он не заперт. Достань из него три вещи: запасную бобину с тонкой лентой, зажим, похожий на бельевой, и розовую бутылочку с клеем. Тебе приходилось склеивать магнитофонную ленту?.. Смазать кончики клеем, сжать, под пресс — все верно. Только о прессе не может быть и речи. Клеить тебе придется на ходу. Катушка не должна останавливаться ни на секунду — понял? Там у основания вращающейся бобины торчит свободный кончик ленты. Вот его надо подклеить к запасной. Знаю, что трудно, знаю... Но, Коля, надо, чтоб вышло! Причем с первого раза. Второй попытки не будет. Ты готов? Оба конца смазал? Теперь быстро соедини их и сожми зажимом... Ну?.. Зажим пусть крутится с катушкой — ничего, он легкий. А запасную поворачивай, поворачивай, чтобы лента не перекрутилась. Много еще ее на катушке?.. Следи, Коля, следи. Когда останется несколько витков, сними зажим... Не бойся, клей особый, схватывает за минуту. Запасную же насади на палец или на карандаш. И приготовься — тебе придется ее немного поддержать вручную. Потом снимешь ту, опустевшую, насадишь на освободившийся штырек новую. Что?! Кончается? Быстро — снимай зажим! Запасную поворачивай до последнего момента!.. Коля, миленький, ну? Что там у тебя?!

Что?

Пауза тянулась несколько секунд.

Им показалось — часов.

— Вроде, пошла... — Голос Кили звучал слабо — видимо, забыл повернуться к микрофону. — Тянет. Запасную теперь тянет. Я думал, порвется на склейке, а нет. Клей у вас хороший. Дадите немного?

— Весь! Я тебе весь клей подарю! Ты... Попроси чего-нибудь еще. Проси что хочешь! Ты сам не знаешь, как ты...

Она не могла больше говорить.

Директор помог ей подняться, вывел в коридор подышать.

Капитан, отирая капли пота со лба и щек, занял ее место.

— Коля, тебе сколько лет?

— Одиннадцать. А что?

— Я старше тебя на двадцать пять лет. Но не знаю, справился ли бы я, как ты. Молодец. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Только спать охота. Но если надо...

— Надо, Коля, надо очень. Следи за лентой. Держи клей наготове. Если порвется... Не засыпай, очень тебя прошу. Хочешь, я артиста вызову сюда, чтоб он тебе истории рассказывал? Страшные. Или веселые. Только не засыпай. Если ты заснешь — другие могут не проснуться.

— Ладно. Я щипать себя буду. Ой!..

— Что — очень больно?

— Нет. Шаги услышал. Кто-то идет сюда по коридору. Входит...

— Не бойся, Коля, не бойся. Ты включил широкую ленту на растормаживание — люди постепенно приходят в себя. Кто там вошел?

В репродукторе раздался неясный шум, изумленный мужской голос произнес: «А ты что тут делаешь?»

— Ничего страшного, — сказал Коля. — Это Сазонов. Если будет хулиганить, я ему сейчас дам конфетку, он и заткнется.

— Дай ему лучше микрофон, — улыбнулся капитан.

— Научный городок? Вызываю научный городок. — Сазонов говорил внятно, но как-то неуверенно. Будто удивлялся, что слова слетают с его языка так послушно, и именно те, какие он хотел. — Андрей Львович, это вы? Докладывает Сазонов.

Директор поспешно вернулся в радиорубку, сел к столу.

— Не надо докладывать, Юрий Семенович. Вряд ли вы сможете сказать нам что-то новое. Скорее — мы вам.

— Но что здесь произошло? Кажется, я был без сознания. Сейчас час ночи, а прибыл я...

— Вы прибыли днем в два. И как все прочие, попали под сильное излучение, подавляющее память. На ваше счастье, вам досталась небольшая доза, часа полтора. Она превратила вас в десятилетнего ребенка, но усыпить не успела. Где-то около четырех излучение прекратилось. Поэтому и сознание вернулось к вам раньше, чем к остальным.

— А что с остальными? Я видел только троих: Сильвестров, начальник Домика Дергачев и лесник. Все трое без

сознания. А ребенок? Что он здесь делает с передатчиком? Знаете, я хорошо помню, как прибыл, как вышел из вездехода, добрался до «Карточного домика», обошел его снаружи, а дальше...

— Потом, Юрий Семенович, все расскажете потом. Сейчас главная ваша задача — обеспечить порядок до прибытия спасательного отряда. Сознание и память будут возвращаться к людям постепенно. Возможно, кто-то испугается, впадет в панику. Вы должны успокоить их, добиться, чтоб спокойно ждали врачей. Мы будем утром часам к шести. Сами-то вы в каком состоянии?

— Вроде бы в нормальном. Только вижу все каким-то непривычно ярким. Будто глаза мне промыли. А так ничего.

— Вот и прекрасно. Что же касается мальчика (ребенка, как вы его называли) — поклонитесь ему низко от нас всех. Да и от себя тоже. Если бы не он... Будет трудно — он вам поможет. Да-да, уверяю вас: на этого «ребенка» можно положиться.

11

Был уже пятый час ночи, когда мощный сноп света ворвался в окна ночлеговских домов.

Анечка, задремавшая было над своим аппаратом, вскочила, набросила полушубок, замотала голову платком и выбежала на крыльцо.

Рев моторов надвигался по улице и, казалось, расплющивал, подминал под себя вой ветра. Издали сквозь летящий снег сверкнула ослепительная звезда прожектора, луч скользнул по крышам, по заборам, по колонне машин, медленно ползущей по расчищенной полосе. Вспухающий снежный вал накатывался все ближе, и кабины двух бульдозеров еле виднелись над его гребнем. Не доезжая здания почты, колонна свернула и так же медленно и неумолимо поползла по целине, нащупывая гусеницами заброшенную дорогу, ведущую к лесу, в сторону «Карточного домика».

Не в силах сдержать радостного возбуждения, Анечка что-то крикнула, замахала рукой, как машут дети проходящему поезду, потом вернулась в дом. Уже с порога услышала писк зуммера, подседа к аппарату.

— Да, Алексей Федотыч, да! Прошли они, только что! Машин, тракторов — не счесть! Одних санитарных штук во-

семь. А санитарных-то зачем так много? Вы же говорили, что обошлось, что все в этом институте живы остались.

— Живы-то живы, но в себя, видать, не сразу придут после такого... Это, знаете, мелом на доске написанное легко стереть и потом записать снова. А если стерта память... Эксперимент совсем новый, неслыханный, так что медицине здесь нужно в оба глядеть.

— А с тем что? С самим? Который всю кашу заварил?

— С ним хуже всего. Он ведь над собой опыт ставил, так что ему больше всех досталось. Я только что разговаривал с научным городком: опасаются за жизнь. Единственный он из всех до сих пор в сознание не пришел.

— Беда... Но, может, поспеют еще, спасут? Так ходко идут, что за час, думаю, доедут. Теперь, говорят, чуть не с того света научились возвращать. Как это называется? Ре... Ру...

— Реанимация. А кстати, знаете, кто там первый на помощь пришел? — Алексей Федотыч не мог сдержат горделивых ноток. — Наши ребята, интернатские. Те, что заблудились и туда забрели. Как и что, еще не знаю, но из научного сказали: спасибо за таких ребят. Будем их награждать.

— Ну вот, а вы так волновались. Я же говорила, что все обойдется. Не маленькие они, чтобы пропасть совсем.

— Боюсь только, что дома их по-другому наградят. Вы, Анечка, свяжитесь еще раз с Зипунами — предупредите, успокойте. Объясните, как все вышло.

— Хорошо. Сейчас попробую.

Но не успела она нажать на кнопку вызова — Зипуны позвонили сами.

— Анечка? Ешкилева говорит. Ну, что там? Не слышать чего нового? Вроде и объяснили мне, что нашлись они, а все равно места себе не нахожу.

— Не волнуйтесь, Катерина Андреевна, все хорошо. Ребята живы-здоровы. И отряд спасательный с врачами только что туда проехал. Думаю, к утру привезут их, увидите.

— Ох, прямо и не знаю, верить тебе аль нет. Может, ты меня просто утешить хочешь, а? Ведь если б случилось что худое, сразу бы не сказала? Так же подготавливала бы сперва, успокаивала, а потом хлоп — обухом по голове.

— Да вы что? Что вы такое говорите? Ну, вот погодите, я вам сейчас докажу. Хотя и просили меня не звонить, не беспокоить зря, но... Сейчас...

Она перегнулась через стол к радиотелефону, сняла трубку и, прижав ее щекой к плечу, постучала по рычагу.

— Дом лесника?.. Кто это? Дима, ты? Не заснул? Можешь поговорить со своими Зипунами? Катерина Андреевна очень беспокоится, не верит мне про вас.

— Тетя Катя?! — Голос Димона звучал явственно, но словно бы сквозь трубу. Наверно, прикрывал рот ладонью. — Я это, я! Снегирев, да. Целы мы, все целы, не волнуйтесь. И Колька ваш — вон он, рядом на лавке спит... Нет, он по-нормальному спит — не бойтесь... Устал... Будить? Не могу — рука не поднимается. Он три часа около «Мнемозины» отдежурил. Сейчас его Лавруша сменил... Ну, около машины этой. Тетя Катя, я вам хочу сказать про Кольку: вы не знаете... Не знаете, какой он выдающийся. И мы не знали... Пусть! Пусть выдающийся неслух! Зато мы-то все оказались слишком послушные. Нам приказали бежать из здания, мы и драпанули. А он — нет! Единственный не послушался и остался... Просто почуял. Почувствовал, что нельзя уходить. Если б не он... Я тоже чуял, что нельзя, но не так сильно — и ушел. Эх, зря я вам рассказал. Вы теперь еще больше его ругать будете... Но мы его теперь знаете как будем защищать! А что — даже и от вас. Потому что он теперь всегда — с нами. Навсегда... И если кто-нибудь в деревне или интернате хоть пальцем...

Анечка, слушая этот разговор, согласно кивала, улыбалась и показывала рукой на радиотелефон, будто хотела сказать: «Вот видите? А вы не верили».





СОДЕРЖАНИЕ

ТАВРИЧЕСКИЙ САД 5

Глава 1. История с немцами	7
Глава 2. Узурпаторы	11
Глава 3. Трудная жизнь Бердяя	19
Глава 4. Цветные металлы	21
Глава 5. Кто главнее	26
Глава 6. Музыка	32
Глава 7. Вы были так добры	38
Глава 8. Мечты, мечты...	44
Глава 9. Бой гладиаторов	48
Глава 10. Своими глазами	54
Глава 11. Новенький	56
Глава 12. Лес	61
Глава 13. Волков	63
Глава 14. Снаряд	67
Глава 15. На сопках Маньчжурии	71
Глава 16. Перемены	75
Глава 17. Физики, за мной!	80
Глава 18. Мой дом	86

ВЗРЫВЫ НА УРОКАХ 93

Роджер Бэкон	95
Все наоборот	100
Финские лыжи	104
Фокусы, письма и силикаты	110
Кино	115
Невозможно перевести	120
Дождь	123
Снимать всю жизнь	127
Контрольный урок	131

Я ХОЧУ В СИВЕРСКУЮ 135

Почему меня не пустили в Сиверскую	137
Я начинаю исправляться	140
Фимка и книги	141
На вечере	143
Кем мы будем	146
Баскетбол	150
Ужасное несчастье	153
Глава, в которой еще ничего не кончается	156

ПУРГА НАД «КАРТОЧНЫМ ДОМИКОМ» 159



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

*Присылайте нам ваши отзывы
о прочитанных книгах и
пожелания об их содержании и оформлении.
Укажите свой точный адрес и возраст.*

*Пишите по адресу:
Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6.
Дом детской книги издательства
«Детская литература».*

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

**Ефимов Игорь Маркович
ТАВРИЧЕСКИЙ САД**

Ответственный редактор Н. П. Кришун.
Художественный редактор А. В. Карпов.
Технический редактор Т. С. Тихомирова.
Корректоры К. Д. Немковская и
Л. Л. Бубнова.

ИБ 2563

Сдано в набор 14/VII 1977 г. Подписано к печати 23/II 1978 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская №2. Печ. л. 15. Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 13,2. Тираж 100 000 экз. М-26201. Заказ № 850. Цена 50 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавополиграфпрома Госкомиздата Совета Министров РСФСР, Калинин, проспект 50-летия Октября, 48.

Ефимов И. М.

Е 91 Таврический сад. Повести. Переиздание. Рис. М. Беломлинского. Л., «Дет. лит.», 1978.
237 с. с ил.

В книгу вошли четыре повести о современных школьниках: «Таврический сад», «Варыны на уроках», «Я хочу в Сиверскую» и «Пурга над «Картонным домиком».

Р 2

ЧИТАЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БАНЫКИН В.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Рис. П. Пинкисевича
М., 1976, 302 с.

БАРУЗДИН С.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Рис. О. Коровина
М., 1977, 334 с.

ИБРАГИМБЕКОВ М.
ПУСТЬ ОН ОСТАНЕТСЯ С НАМИ
Повести
Рис. М. Соколова
М., 1976, 160 с.

НОСОВ Е.
БЕЛЫЙ ГУСЬ
Рассказы
М., 1976, 287 с.

ТЕНДРЯКОВ В.
ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ
Повесть
Рис. П. Пинкисевича
М., 1977, 95 с.

50 коп.



Издательство
«Детская литература»